

С.М.
СОЛОВЬЕВ

ИСТОРИЯ РОССИИ
1773-1774



История России с древнейших времен

Сергей Соловьев

**История России с древнейших
времен. Книга XV. 1773–1774**

«Public Domain»

Соловьев С. М.

История России с древнейших времен. Книга XV. 1773–1774
/ С. М. Соловьев — «Public Domain», — (История России с
древнейших времен)

Пятнадцатая книга сочинений С.М. Соловьева включает последний, двадцать
девятый том «Истории России с древнейших времен». В двадцать девятом
томе, оставшемся незаконченным, продолжено начатое в предыдущих томах
повествование о царствовании Екатерины II, освещены события внутренней и
внешней политики 1768—1774 гг.

Содержание

Двадцать девятый том	5
Глава первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Сергей Михайлович Соловьев

«История России с древнейших времен»

Книга XV. 1773—1774

Двадцать девятый том

Глава первая

Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны

Турецкие и польские дела в 1773 и 1774 годах. Отношения к другим европейским державам за то же время

Мы видели, что в конце 1772 года переговоры на Бухарестском конгрессе остановились благодаря крымским городам, которых требовала Россия. И в начале 1773 года Обрезков доносил, что все затруднение состоит в этих городах, Керчи и Еникале, которых турки уступить никак не хотят, и конгресс разорвался бы, если бы он не обещал переписаться о городах со своим двором. Вслед за тем Обрезков извещал, что желание Порты окончить войну охладевает и это надобно приписать проискам врагов России в Константинополе. Обрезков писал прусскому посланнику Зегелину в Константинополь, чтоб тот уговаривал там согласиться на уступку Керчи и Еникале. Зегелин стал уговаривать рейс-эфенди, но тот отвечал: «Порта делала все для успешного окончания переговоров: согласилась на уступку Азова и Таганрога, на известные гарантии для грузин, молдаван, казаков, на торговлю русских подданных на Черном море и архипелаге, хотя морские державы единодушно советовали противное; Порта согласилась, что для безопасности от татар Россия может укрепляться как ей угодно. Но от уступки Керчи и Еникале зависит благосостояние Оттоманской империи; если б даже Россия обязалась никогда не строить там военных кораблей, то и это не обеспечивало бы нисколько в будущем, потому что Россия может приготовить все материалы на Дону и при первом разладе с нами перевести их в Керчь и Еникале; в три или четыре месяца русский флот в числе 12 или 15 кораблей появится на Черном море и предпишет законы Константинополю. Наше решение непреложно: если Россия уступит насчет Керчи и Еникале, мир будет заключен; но, если она будет настаивать на своем, мы будем продолжать несчастную войну, хотя бы привелось нам всем погибнуть, ибо если предназначено Турецкой империи погибнуть, то мы не можем этого избежать». Обрезков переписывался также и с австрийским интернунцием в Константинополе Тугутом, ожидая и от него содействия в заключении мира, но Зегелин писал Обрезкову: «Князь Кауниц нажаловался моему государю на меня, что я внушал Порте: если она не заключит скорее мира, то весной австрийцы соединятся с русскими для отнятия у Турции того, что прежде им принадлежало. Из этого я заключаю, что со стороны Австрии нам нечего ожидать для ускорения переговоров, ибо на самом деле внушение, мне приписываемое, было бы самым действительным средством образумить турок; и если бы в Вене и боялись этим слишком ускорить мир и помешать, быть может, тайным замыслом, то я не вижу, зачем так ратовать против подобного внушения, которое ни в чем не вредит венскому двору, будучи сделано не его мини-

стром». Но Румянцев не был доволен и прусским министром, он находил в его письмах «и волчий рот, и лисий хвост...». Все окрестности являют, писал Румянцев Обрезкову, что «друзья неприятелей наших и нам прямые враги суть; но наши приятели, напротив того, доброхотство и пособие им и нам размеряют собственною своею пользою и выгодною. Признали уже они артикулы, главнейшее заpinание в совершении настоящей мирной негoциации составляющие, более значащими в мнении, а не существенную опасность содержащими; но не видели мы еще от них добрых услуг или сильных убедительных представлений, которые могли бы склонить трактующих с нами к соглашению на оныя».

Между тем 3 января в Петербурге в заседании Совета по поводу донесений Обрезкова императрица написала: «Кораблеплавание на Черном море Россия требует свободное. Все прочие турецкие раздробления излишни, ибо по мелководью большие военные корабли по Черному морю ходить не могут; и российские военные суда, кои строятся на Дону, по мелководью меньше всякого по сию пору на Черном море видимого турецкого купеческого корабля». К этому Екатерина прибавила устно, что после такой славной войны было бы предосудительно для империи и для собственной ее славы сносить предписания турок. На это Совет представлял императрице, что надобно снабдить Обрезкова новыми наставлениями на случай, если бы турки заупрямились и не стали заключать мира без ограничения русского кораблеплавания или без получения ими места в Крыму; что в таком случае лучше согласиться на ограничение кораблеплавания, чем допустить турок опять укорениться в Крыму; что, имея торговые суда, можем их всегда в случае надобности обращать в военные; что и при этих условиях мир наш славен и полезен будет и было бы очень прискорбно, если бы война возобновилась, особенно когда шведские дела находятся в таком натянутом положении. Императрица отвечала на это, что страх пред шведами обличает сомнение в собственных своих силах и что она не согласится переменить своего решения о кораблеплавании, пока Совет не представит ей причин более важных.

От 26 января Обрезков уже писал Панину, что «со склонностью Порты к достижению мира случилась весьма явная перемена, так что не токмо успех вверенной ему негoциации становится сумнительным, но и не без опасности быть скорому конгрессу разорванию». Порта обнаруживала явное намерение не уступать России ни одной гавани на Черном море. Обрезков употреблял последние усилия, чтоб не разорвать конгресса: зная страшную скупость султана, он предложил, что Россия откажется от денежного вознаграждения за военные убытки, если Порта согласится на все другие ее требования. Послали в Константинополь за решением, и на конференции 9 марта был объявлен ответ: за все завоеванные Россией земли и теперь возвращаемые Порта платит 12 миллионов рублей, а за то, что Россия отстанет от требования Керчи и Еникале и согласится на ограничение кораблеплавания на Черном море, заплатит еще 9 миллионов. Обрезков отвечал, что если бы Порта предлагала все сокровища мира, то Россия и за них от своих требований не отстанет. Тогда турецкий уполномоченный Абдул-Резак-эфенди объявил, что больше уже переговаривать не о чем и он уезжает. Обрезков сказал на это, чтобы он прислал записку, сколько ему нужно подвод. Турок смутился и начал говорить: «Если мы переговоры разорвем, то после опять начать их трудно будет, и войне не вечно же быть; лучше бы переговоры не разрывать, а, расставшись, мне быть за Дунаем, а вам в каком-нибудь месте по сию сторону Дуная и продолжать переговоры письменно». Обрезков согласился. Уполномоченные расстались самым дружеским образом и обнялись почти со слезами. «Могу поистине сказать, – писал Обрезков, – что я почти весь век свой с этой нацией изжил, но такого порядочного и добродетельного человека не нашел». Обрезков поселился в местечке Романе. Зегелин писал ему из Константинополя, что против его ожидания разрыв и второго конгресса не произвел в столице сильного впечатления: здесь более согласны на продолжение войны, чем на заключение мира на русских условиях. Рейс-эфенди говорил ему: «Можем ли мы уступить татарскому хану независимость, какой требует Россия? Это противно нашим законам, нашей

религии, ибо невозможно, чтобы два мусульманских государя так близко царствовали друг от друга; надобно, чтобы их хан признавал султана своим главою или чтобы султан подчинился хану; равенство здесь невозможно; это наша конституция, которая не может быть изменена, разве при окончательном падении нашей империи. Уступить Керчь и Еникале все равно что войти в зависимость от России, которая в короткое время построит там страшный флот и будет предписывать нам законы».

Еще до разрыва Бухарестского конгресса из Петербурга предписывали Обрезкову грозить, что перемирие возобновлено не будет, и этою угрозою понуждать Порту к миру. Но Румянцев был с этим не согласен и писал Обрезкову: «Объявить сие, и так заблаговременно, было бы власно, что разбудить турков от настоящего усыпления и понудить их повсеместно взять должные на такой случай меры, причем не только не легко уже нам будет ударить на какой-нибудь чувствительный для них пункт, но можем иногда по нынешнему войск ослаблению упреждены быть и от них и потерпеть случающийся урон наипаче в слабых частях. Чем внезапнейшие, тем и полезнейшие быть бы могли наши действия. И для того я мню, что буде настоять сомнение заключить желаемый мир, то лучше усыплять неприятеля в настоящем военном нерадении и тишине, нежели устрашением нудить его устроить свои обороты, ибо всякий, кому бы ни сказать, что готовлюсь тебя бить, натурально примет к отвращению меры взаимства». Румянцев досадовал на графа Алексея Орлова, который был против перемирия, жалуясь на то, что он обезоружен, лишен средств продолжать успешные действия и подвергнут опасности. Румянцев в своих письмах к Обрезкову говорил по поводу этих жалоб: «Что бы он мог такое сделать в продолжение четырех месяцев? Мало ему было трех лет для совершения этих подвигов?»

Румянцев был сильно рассержен тем, что прошлого года армия его была ослаблена взятием нескольких полков в предположении войны шведской. После эти полки велено было возвратить, но Румянцев писал Обрезкову: «Мы, когда возвышаем наши требования, тогда не ищем тех способов, которые в таких случаях сущим суть подкреплением, т.е. чтоб умножать свои силы против неприятеля, но паче их ослабляем в виду, так сказать, врагов, на то взирающих. Оставление взятых полков, которые к первому делу по дальнему переходу и поспеть уже не могут, не надеясь, чтобы в неприятеле ту же имело содеятельность, какову он получил к своему возободрению от их прежнего движения. Дни долгого перемирия не послужили нам к достаточному себя снабдению к военному делу. Еще не бывали рекруты, многих нужнейших аммуничных вещей не привезено, а потому ежели в марте открывать кампанию, то не только не будет здесь сил к предприятию какому-либо знаменитому, но едва их станет на защиту себя и удерживаемого края против стремлений неприятельских. Я говорю с полною дружескою доверенностью, что у меня ни здоровья, ни смысла не стает уж для таких трудных изворотов, в которых не имею вспоможения, но паче ослабляют прилагаемые труды к трудам. Все другие держатся правила, что, желая твердого мира, надобно быть готовым к войне, а у нас сему противное видим, ибо армия здешняя, вы сами видите, сколько не имеет для себя надобного».

Когда Обрезков дал знать Румянцеву, что переговоры не могут повести к миру и потому главнокомандующий должен быть готов к возобновлению военных действий, то Румянцев отвечал: «Не нетрудно сие исполнить, ибо у нас еще и рекруты не прибыли, и если часть каких запасов для одевания получена, то в сие только время принимаются обшивать солдат. Доставка сюда всякого снабдения заблаговременно не зависит от меня, но тем располагают другие; итак, отверзтие кампании при исходе зимы придет ни по числу сил, ни по готовности у нас полного снабдения; но живу всегда вопреки русского присловья: *хоть не рад, да готов*, т.е. ко всему рад, хотя готовности и мешают все противоборства». Обращаясь опять к Орлову, к его возражениям против перемирия, Румянцев писал: «Флот наш имеет путь открытый, и не привязывает его к себе никакой остров, вместо того что здесь всякий шаг земли нельзя оставить без предосуждения оружию; следственно, и защита земель пространных, приобретенных

завоеванием, весьма разнствуует от плаванья по водам беспрепятственным. Не могу я скрыть пред вами в рассуждении моей искренней дружбы моих мыслей, до коих меня доводит жестокий упадок телесных сил. Многия лета проводил я, следуя движениям любви к отечеству и усердной склонности к делу военному. Не будучи никогда в счастливом положении, чтоб по собственному желанию избирать себе случай, но что на меня возлагали, то я исполнял без подобных другим жалоб. Теперь болезненные припадки так меня обессиливают, что я едва могу препроводить короткое время, ежели будет зимняя кампания, а в дальнейших уже подвигах я не лыщу себя участием. К понесению военных трудов, во-первых, надобна естественная сила, а я уже лишился оной. Бой ваш политический в самом жарком воспалении имеет средство к своему утолению; но наши схватки всегда кровопролитны, так что раз опрокинутая их тягость редко низложенному даст подняться на ноги и решенному одним сражением не воспротивляются целые веки. Военные битвы и способы к тому явны всей публике, следственно, суд и обвинение тут неизбежны, а оправданию едва бывает место, но связь и пружины сил ваших и их действия скрывают кабинеты от всякого других проницания».

От 28 февраля Румянцев получил высочайшее повеление – «вынудить у неприятеля силою оружия то, чего доселе не могли переговорами достигнуть, и для того с армиею или частью ее, перешед Дунай, атаковать визиря и главную его армию». Уведомляя об этом Обрезкова, Румянцев писал: «Тебя я, мой дражайший друг, имею, так сказать, по боге свидетелем нашего здесь состояния, а потому и не затрудняю тебя дальнейшими объяснениями, зная, что твое проницание лучше всех видит наши к тому силы и удобство, особливо, когда надлежит сломать прежде крепкие преграды, т.е. разбить силы неприятельские и овладеть городами, стан визирский закрывавшими, и когда на все стороны осматриваться надобно, чтоб не проронить чего-либо к предосуждению безопасности мест, нами оберегаемых, то сколь способно мне к одному месту тронуться; и по дружеству и благосклонности ко мне легко заключать можешь мои тут затруднения. Присовокупить надобно, что и время не сходствует для таковых поисков, когда стужа заставляет искать всякого убежища в избе, а, преодолевая суровость времени, себя только преодолеваешь и приводишь в несостояние в удобное время к действиям».

Румянцев писал точно так же самой императрице о неудобствах перехода через Дунай, переслал ей мнения генералов Салтыкова, Потемкина и Вейсмана о тех же неудобствах; король прусский также советовал не переходить за Дунай – ничто не действовало, Екатерина настаивала на переход. В апреле русские войска начали наступательное движение с выгодою для себя; попытки турок переправиться на левый берег Дуная были неудачны. Русский отряд под начальством полковника Клички переправился за Дунай, разбил несколько раз турок и возвратился назад, как то дельвал Вейсман в 1771 году; попытки турок против Журжи и Слободзеи кончились для них очень неудачно. В мае Суворов, переведенный из Польши в Дунайскую армию, начал и здесь блистательно свою деятельность, овладев Туртукаем. Но «случилось дознать и неудачу как следствие жребия военного, не всегда приверженного одной стороне»; по словам Румянцева, эту неудачу потерпел полковник князь Репнин, который сам раненый достался в плен туркам с двумя майорами Дивовыми и несколькими обер-офицерами. «Поверхность, неприятелем в сем разе приобретенная, ничего и наималейше не переменила в нашем положении, – писал Румянцев, – да и утрата толь малого числа людей ничего бы по себе не значила, ежели бы в ней не было персоны князя Репнина, каковых знатных пленников во всю войну еще не имели турки, и по сему пункту, а наиболее и по персональному моему доброжелательству к их фамилии чувствительно мне прискорбен сей случай. Между тем наши движения идут, чтоб заплатить врагам с лихвою. Г. Вейсман со своим корпусом уже за Дунаем, и я в спешествовании дальнейшим действиям подвигаюсь берегом вверх сей реки».

Вейсман, переправившись за Дунай, не замедлил известить фельдмаршала о победе: 27 мая он напал при Карасу на неприятеля, стоявшего в 12000 пехоты и конницы, и нанес ему поражение; турки потеряли более 1000 человек убитыми; русским достался весь их лагерь с

16 пушками. После этого Румянцев решился переправиться через Дунай у Горабала или Бали-Багаса. Но тут стояло 6000 турок с пушками. фельдмаршал велел Вейсману зайти им в тыл от Карасу и Потемкину высадиться и идти прямо им в лицо. 7 июня оба генерала одновременно с двух сторон подступили к неприятельскому лагерю, и в то же время фельдмаршал с главным войском показался на левом берегу Дуная, ведя наравне со своим движением суда, собранные для переправы. Турки оторопели и при первых выстрелах бросились в бегство; русская конница поскакала за ними и истребила более 300 человек; обоз достался победителям. Очистив назначенное для переправы место, Румянцев в тот же день велел перевозить войска и 11 числа сам перешел Дунай. Разбивши еще раз турок на реке Галице, русские стали лагерем у Силистрии.

Еще прежде, когда Румянцев дал знать в Петербург о намерении своем переправиться через Дунай и о взятии Туртукая, гр. Григорий Орлов говорил в Совете, что по настоящему расположению фельдмаршала он видит, как Румянцев намерен исполнить теперь то, что он, Орлов, предлагал ему в прошлогоднее свидание, а именно переправиться за Дунай между Черным морем и Карасу и утвердить там левое крыло армии; визирь, находясь на другой стороне Карасу, не мог бы отрезать нашего войска по дальности обхода, напротив, сам нашелся бы в опасности быть отрезанным; таким положением мы могли бы отворить себе путь за горы и, потревожив столицу неприятеля, заставить его согласиться на мир. Узнав о переправе Румянцева, Екатерина 28 июня, в день восшествия своего на престол, написала ему, что так как он сделал этот день для нее радостным, то она пожаловала сына его (Михаила) полковником, и желала божеской помощи во всех впредь за Дунаем предприятиях.

К Вольтеру Екатерина писала: «Вашему любезному Мустафе придется опять быть отлично поколоченным после переговоров, разрыва двух конгрессов и перемирия, продолжавшихся почти целый год. Этот почтенный господин, по-моему, вовсе не умеет пользоваться обстоятельствами. Нет сомнения, что вы увидите окончание этой войны. Надеюсь, что переход через Дунай будет способствовать этому двояким образом: он вас обрадует и сделает султана сговорчивее».

Но Румянцев в 1773 году приготовил Екатерине такую горькую нечаянность, какую она испытала от Голицына в 1769 году. Несмотря на несколько удачных схваток с турками, овладение Силистриею оказывалось невозможным по причине сильного гарнизона, простиравшегося до 30000 человек; на предложение сдаться комендант отвечал, что русские не получают ни одного камня и ни одного гвоздя из Силистрии. От Шумлы шел Нуман-паша с целью напасть на русскую армию с тыла в то время, как с другой стороны на нее нападут войска из Силистрии. Навстречу Нуман-паше двинулся Вейсман и встретился с ним 22 июня при Кучук-Кайнарджи. Турки были поражены, потеряли около 5000 убитыми, 25 пушек; но русские заплатили за это очень дорого: знаменитый Вейсман был убит. Несмотря на то что теперь турки не могли прийти на помощь Силистрии, Румянцев 24 июня собрал военный совет, на котором решено перейти назад, на левый берег Дуная: страшно истомленную конницу нельзя было вести вперед, травы не было, лошадей кормили камышом, да и за тем нужно было посылать далеко; дороги трудные, а сражаться не с кем, турок не догнать. Фельдмаршал от 30 июня дал знать о своем обратном переходе на левую сторону Дуная. «Предвидя, – писал Румянцев, – что персональные мои неприятели выводят меня на пробу жестокую, тогда как силы, мне вверенные, приведены в великое ослабление, дерзнул я по чистой совести и долгу всеподданнейшему донести в. и. в-ству о всех трудностях в настоящем переходе за Дунай. Воображения мои тогдашние с испытанием настоящим в том токмо разнятся, что казавшееся с сей стороны многотрудным далеко больше найдено неудобным. Будучи на той стороне, бывшие со мною там генералы остаются свидетели, сколько я старался до последней черты, не щадя ни трудов, ни жизни, выполнить высочайшую волю в. и. в-ства, имея токмо под именем армии корпус небольшой в 13000 пехоты на все действия с визирскими силами, которые, однако ж, побиты и

рассыпаны, – словом не испытано разве только то, чего одолеть не может человечество. Через сей поход многотрудный весьма утомлены люди, а лошади дошли до крайнего изнурения, и я не могу сокрыть пред в. в-ством угнетающих меня теперь трудностей по пункту оборонительного положения, в которое не легко мне попасть с прежнею твердостью, рушившись из оногo до самой пяты. Еще я дерзаю изъяснить пред Вами дух усердного и верного раба о положении сопротивного дунайского берега по очевидному уже моему дознанию, что если бы продолжать на нем военные действия, то не удвоить, а утроить надобно армию, ибо толикого числа требует твердая нога, которой без того иметь там невозможно в рассуждении широты реки, позади остающейся, и трудных проходов, способствующих отрезанию со всех сторон, для прикрытия которых надобно поставить особливые корпуса, не связывая тем руки наступательно действующего, который чрез леса и горы себе путь сам должен вновь строить. Поражен давно уже дух мой прискорбностию, что я не удостоиваюсь на письме видеть знаки монаршего благоволения, если только доходят к в. и. в-ству мои всеподданнейшие; сокрушает и то, когда ходатайство мое о многих здесь служащих не служит на их пользу и без того и упадает в подчиненных ревнование, которых и не имею ничем другим ободрить, да и многие мои донесения о недостатках и нужном ополчении не приобретают содеятельности; и чувствую и предвижу, что когда не в усердии, на которое никто неправды положить не может, то находят во мне недостатки в способностях и, делая меня человеком, встречающим во всем трудности, лишают меня доверенности вашей. Сознаю пред в. и. в-ством, что, служа не первую войну, пять лет сряду ощущал я ослабление в себе душевных и телесных сил, а полагая счастье свое в угождении высочайшей воле в. и. в-ства и в благе отечества моего, охотно я такового желаю увидеть на своем здесь месте, кто лучше находит моего способы удовлетворить обоим сим драгоценным предметам».

15 июля в присутствии императрицы читали в Совете официальное донесение Румянцева о возвращении на левый берег Дуная. Впечатление было сильное: говорили, что возвращение фельдмаршала подаст повод к неприятным толкам, возгордит турок и удалит желаемое заключение мира. Высказалось неудовольствие против Румянцева: говорили, что его требования слишком велики, нет средств увеличить Первую армию в таких размерах, как он хочет; зачем он перешел Дунай, не обсудивши сначала всех трудностей; сражения с неприятелем, происходившие по-пустому, расстроили армию по крайней мере на два месяца. Но как ни сердились, помочь делу можно было только удовлетворением, хотя отчасти, требованиям фельдмаршала. Захар Чернышев предлагал, что по настоящему положению польских дел можно послать в Первую армию несколько полков из находившегося в Польше корпуса, что для ободрения фельдмаршала надобно отвечать на его донесение, уведомить его об увеличении его армии. Совет согласился, согласился и на другое предложение Чернышева – взять из Польши Бибикова, оставив там генерал-поручика Романиуса. Екатерина сама прочла вышеприведенное письмо к ней Румянцева и, указав на жалобу фельдмаршала, велела, чтоб по его представлениям немедленно было исполнено.

Письмо Румянцева было очень ловко написано: он извещал о неприятнейшем событии, возбуждал против себя сильное негодование, но, чтобы это негодование не высказалось, в конце находилось внушение, что если есть человек, который способен вести дело лучше, то он готов передать ему начальство над войском; тут не было прямой просьбы об увольнении, а вызов приискать ему подобного или лучшего. Такого приискать, разумеется, не могли; могли уволить Голицына, потому что в виду был Румянцев, но другого кагульского победителя не было. Румянцев не нашел себе соперника, который бы мог заменить его на Дунае, и, как легко было предвидеть, возбужденное им негодование в Совете кончилось решением ободрить его, увеличить его армию, исполнить его требования относительно наград подчиненным. Но Румянцев нашел себе сильную соперницу в борьбе на письмах. Екатерина отвечала ему также очень искусно, с полным достоинством, снисходительно, милостиво, с постоянным выражением совершенного доверия к искусству полководца, надежды, что он поведет дело как нельзя

лучше, и вместе с прочим внушением, что ему не следует предполагать врагов, которые могут вредить ему при ней, с указанием, что и сам он виноват в озлоблении своей армии; наконец, дано понять, что намек фельдмаршала на отставку не испугал ее, что она готова уволить его; но здесь так искусно была отстранена всякая тень неудовольствия, раздражения, что обидеться и действительно подать просьбу об увольнении было нельзя. «Любя истинное благо империи, – писала Екатерина, – и для того желая не менее многих восстановления мира, чистосердечно вам скажу, что известие о возвратном вашем перешествии через Дунай не столь мне приятно было, нежели первая ваша с армиею переправа чрез сию реку, с которою я вас столь искренно поздравляла письмом моим; ибо мню, что возвращение ваше на здешний берег не будет служить к ускорению мира, оставляя, впрочем, без всякого уважения все пустые по всей Европе эхи, коими несколько месяцев сряду уши набиты будут: сии сами собою, конечно, упадут, причиняя нашим ненавистникам пустое некоторое удовольствие, на которое взирать не станем. Что же касается до ваших персональных неприятностей, о коих вы ко мне упоминаете, что они вас выводят на пробу жестокую, тогда как силы, вам вверенные, приведены в сильное ослабление, и для того вы ко мне о всех трудностях перехода через Дунай живое описание делаете, то, входя во все ваши обстоятельства колько возможно подробнее, откровенно вам скажу, во-первых, что я сих ваших неприятелей, на коих вы жалуетесь, не знаю и об них, кроме от вас, не слышала, да и слышать мне об них было нельзя, ибо я слух свой закрываю от всех партикулярных ссор, ушенадувателей не имею, переносчиков не люблю и сплетней складчиков, кои людей вестями, ими же часто выдуманнами, приводят в несогласие, терпеть не могу; сии же люди обыкновенно иных качеств не имеют к приобретению себе уважения, кроме таковых подлых. Подобным интригам я дороги заграждать обыкла, уничтожа их; людей же, качествами своими и заслугами себя столь же, как и чинами, от других отличивших, как вы, я не привыкла иначе судить, как по делам и усердию их; итак, надеюсь, что вы по прошедшему времени, в которое вы толикие имели опыты моего благоволения к вам и многочисленным вашим заслугам ко мне и к государству, будете судить о настоящем и о будущем моем к вам расположении... Признать я должна с вами, что армия ваша не в великом числе, но никогда из памяти моей исчезать не может надпись моегоobeliska, по случаю победы при Кагуле на нем исчеканенная, что вы, имев не более 17000 человек в строю, однако славно победили многочисленную толпу. Сожалею весьма, что чрез сей ваш бывший многотрудный весьма за Дунай и обратный поход утомлены сии храбрые люди и что лошади дошли до крайнего изнурения; но надеюсь, что вашим же известным мне об них всегдашним попечением и люди, и лошади паки придут в прежнее их состояние. Что же ваше оборонительное положение рушилось до самого основания и вам не легко будет оное восстановить, сие себе представить могу небеструдным для вас, ибо чрез месяц ваша позиция три разные вида получила; а именно: первая – ваше положение по сию сторону Дуная, потом – наступательная переправа через Дунай и за сим – обратный поход ваш, совокupленный с восстановлением паки оборонительного положения. Все сии, так сказать, переправы, конечно, соединены быть должны с немалыми трудностями и заботами. Но, зная ваше искусство и испытав усердную ревность вашу, не сомневаюсь, что, в каких бы вы ни нашлись затруднениях, с честью из оных выходить уметь будете... Что же ваши телесные силы чрез войну, веденную пять лет сряду, пришли в ослабление даже до того, что вы охотно желаете увидеть такового на вашем месте, который бы так, как вы, полагал счастье свое в угождении воле моей и в благе отечества, о сем осталось мне сердечно жалеть, и, конечно, колько бог подкрепит телесные и душевные силы ваши, империя не иначе как с доверенностию от вас ожидать должна дела, соответствующего уже приобретенной вами ей и себе славе; но со всем тем если по человечеству свойственным припадкам вы, к общему сожалению и моему, не в силах себя нашли продолжать искусное ваше руководство, то и в сем случае я бы поступила с обыкновенным моим к вам, в подобных обстоятельствах находящимся уважением».

Румянцев в ответе своем (от 18 августа) признал, что почувствовал много отрады от слов и милостей госудапыни, и не хотел оставить без возражения слов ее относительно его врагов: «Что я их, к несчастью, имею, то к чему мои объяснения о том пред в. и. в-ством, яко монархиною, премудрою и проникающею глубоко во все действия и их причины, которыми они против меня прямо идут, и своими новоизобретениями в опровержение моих представляют и подобности, и возможности, и удобства, и иной вид в счете дают на бумаге войску, нежели оный есть в деле, и тем ставят меня в исполнении непреодолимых обстоятельств или неготовым, или неискусным, и всяческими образы смешивают к получению награждения прямых военноподвижников не только наряду старшинства с находящимися вне войны, но и с теми, кои, под разными видами явно удаляясь от службы и нередкие в нареканиях и неудовольствия против меня¹, по новым штатам находят для себя выгодные и полезные места, присвояют двойное жалованье при прежнем отправлении службы и должности; изъедают (т.е. враги Румянцева) из ведения моего чинов, привязанных прямо ко мне и неотлучно бытностию, по вверенному над армиею начальству; а чрез то честолюбие как лучшая подпора в службе и уважение к начальнику упадет, негодование же и происки умножаться должны». Румянцев оканчивает письмо так: «По дальнему расстоянию не остается мне надежды заимствовать подкрепление в нынешнюю кампанию от полков, назначенных из польского корпуса; в противном же усердному желанию моему состоянию и при истощении крайних моих сил, быв и теперь несколько уже дней в постели, надеюсь на высочайшую милость в. и. в-ства, щедрым образом всем верно и усердно служащим являемую, что и мне дозволите на подобный случай отлучиться по крайней мере куда-нибудь под кровлю ради спасения последних моих жизненных сил, ибо, терпя всю суровость воздуха, в нынешнюю наипаче кампанию, чрез так чувствительные и жестокие перемены погоды наипоразительнее разорено мое здоровье».

В описании действий врагов своих Румянцев ясно указывал на Чернышева, управлявшего военною коллегией; он мог подозревать и Григория Орлова, но тот по крайней мере прямо написал ему, что публика негодует на его образ ведения войны. Румянцев отвечал: «Получа в. с-ства благосклоннейшее письмо, видел я в нем, как велико ваше ко мне усердие и сколько я несчастлив в благоволении к себе публики. Если бы такой был парламент, в который бы можно позвать общество на суд, и если бы и теперь решались дела примером судилища, что Древняя Греция имела под именем ареопага, я бы счет повел с нашею публикою, кто из нас против кого неблагодарен: я ли еще оной, или уже она мне должна? Век провождая в поте и трудах, не вкусил я той радости, что ощущаем, получа воздаяние своим заслугам. Все трудящиеся имеют меру и цену своим делам, но для одного меня предоставлено всегда делать и тем только заслуживать негодование. Пускай забыты дела прежние и я их не вспоминаю, но неужели настоящее положение мое не трогает публику, когда торжествуют войска над оттоманами, где не сражаются в помощь водные стихии, но все учреждает непрерывный труд? Из Рима и из Греции неудовольствие публики прогоняло лучших полководцев, их заслуги припоминали только в нужде, а иногда и поздно. И мой жребий, по-видимому, к тому же преклоняет мое отечество: я был уже гоним от общего неудовольствия и готовиться должно и в старости ту же. претерпевать участь, когда моему несчастью причина токмо та, что я не умею себя рекомендовать инако как моею службою. Я уверен, что мой милостивый граф не примет участия в публичных обо мне заключениях; итак, я вашу милость и дружбу ко мне поставляю стеною, о которую сокрушатся все ухищрения ищущих мне зла. Между тем скоро мы станем уже пить воду дунайскую».

Но к несчастью, дунайскую воду должны были пить дважды, и, что бы ни писалось из Петербурга, Румянцев был убит горем вследствие невозможности остаться за Дунаем. «Боль во мне душевная не может исчезнуть», – писал он Екатерине, которая находилась также не в завидном состоянии духа.

¹ иже

Английский посланник Гуннинг писал своему двору, что никогда не видал императрицы в таком огорчении; огорчение это, по его мнению, происходило не оттого, что она опасалась теперь вторжения турок на левую сторону Дуная, но оттого, что вследствие непрерывных успехов она не может перенести малейшей неудачи. 19 августа она говорила в Совете: «Требуете вы от меня рекрутов для комплектования армии. От 1767 года сей набор будет, по крайней мере и сколько моя память мне служит, шестой. Во всех наборах близ 300000 человек рекрут собрано со всей империи. В том я с вами согласно думаю, что нужная оборона государства того требует, но со сжиманием сердца по человеколюбию набор таковой всякий раз подписываю, видя наипаче, что оные для пресечения войны по сю пору бесплодны были, хотя мы неприятелю нанесли много ущерба и сами людей довольного числа лишились. Из сего, естественно, родиться может два вопроса, которые я себе и вам сделаю. Первый: так ли мы употребляли сих людей, чтоб желаемый всем мир мог приблизиться? Второй: после сего набора что вы намерены предпринимать к славе империи, которую ни в чем ином не ставлю, как в пользе ее? Оставляя говорить о прошедших, лаврами увенчанных кампаниях, кои неприятеля принудили к мирным переговорам, в ответ на первый сделанный мною вопрос скажу о настоящем положении дел, что, к сожалению моему, вижу я, что сия кампания повсюду бесплодно кончится или уже и кончилась и осталось нам помышлять, не теряя времени, о будущем. Дабы очистить второй мною сделанный вопрос, я повторяю, чтоб, не теряя времени, помышлять о том, что в предыдущую кампанию предпринимать нам занужно почтено будет; разве за полезно почтете, чтобы сухопутные и морские наши против неприятеля силы остались точно в том положении, в каком ныне находятся; положение не действующее, которое я за полезно для приближения желаемого нами мира не почитаю и которое, по моему мнению, нам скорее вторую сзади войну нанесет, нежели настоящую прекратит. Из рекрутского, мне предлагаемого вами набора заключаю я, что вы упражняетесь снабдением армий. Напомнить я за нужно вам нахожу, дабы вы Азовского моря эскадру из памяти не выпускали и оную по возможности привели в наиудобнейшее для дел состояние. Но наипаче вас прошу и вам повелеваю: со всякою ревностию и усердием стараться единодушно сделать план, снабдить к будущей кампании всех разных командующих силами нашими такими наставлениями, дабы они вообще нашлись в состоянии действовать против общего неприятеля и наши употребленные к тому силы к одному бы предмету ведены были, то есть к достижению блаженного мира, в чем да поможет нам всевышний. Еще раз весьма вас прошу, чтоб все сие не осталось при сих на бумагу написанных словах». Подписав указ о рекрутском наборе, Екатерина стала говорить о необходимости беречь новобранцев; некоторые члены Совета представили, что смертность между ними происходит от перемены образа жизни и необыкновенных переходов вследствие пространства империи; императрица приказала, чтоб Сенат вместе с гр. Чернышевым рассмотрел и принял надлежащие меры к пресечению случающихся при наборах злоупотреблений и чтобы для облегчения и сбережения этих непривычных людей армия комплектовалась гарнизонными солдатами, а гарнизоны – рекрутами.

Вследствие этих распоряжений в заседании 27 августа Чернышев читал свое мнение, что по принятым теперь мерам для увеличения Первой армии к будущей кампании до 116000 человек надобно потребовать от фельдмаршала заблаговременно мнения, как он намерен действовать; что с увеличенной таким образом армиею, кажется, можно, оставя на этой стороне Дуная нужное число войск, перейти на ту сторону и там утвердиться; что Вторая армия, защищая по-прежнему Крым, может с помощью флота овладеть Кинбурном; если Первая армия не будет в состоянии перейти за Дунай и останется в настоящем положении, то надобно отделить от нее значительный корпус в помощь Второй армии для взятия не только Кинбурна, но и Очакова, а между тем надобно стараться достигнуть желаемого мира переговорами, отставши от некоторых условий, особенно от требования Еникале и Керчи, приобретение которых более вредно, чем полезно (?). Тут Панин удивил всех предложением, нельзя ли для сохранения

рекрут послать в армии солдат из гарнизонов из здесь находящихся полков, а их место занять рекрутами. Чернышев отвечал, что в прошедшее заседание императрица именно приказала это сделать. В заседании 2 сентября генерал-прокурор предлагал, нельзя ли дать графу Алексею Орлову свободу не пропускать провозимые в Константинополь съестные припасы посредством договора с Англиею; но на это Панин отвечал, что прежнее запрещение провоза припасов возбудило неудовольствие не только Франции, но и всех торгующих держав и что, не будучи в состоянии им там противиться, мы не можем теперь возобновить это запрещение. Члены Совета так желали мира, что соглашались на уступку татарам всех городов, в том числе Керчи и Еникале, даже на ограничение для России плаванья по Черному морю. Один Григорий Орлов был противного мнения и доказывал, что никакие уступки не помогут, турки не согласятся на совершенное отделение татар, разве в крайности. Прусский король предлагал три средства к достижению мира: 1) принудить к тому Порту силою оружия; 2) пригласить к содействию австрийский двор; 3) отстать от некоторых условий, на которые Порта упорно не соглашается. Екатерина заметила по поводу этих предложений: «Заставить турок силою подписать мир. Для достижения этого надобно, чтоб в армии фельдмаршала Румянцева было действительно 80000 человек; кроме того, надобно заготовить магазины на целый год, надобно иметь на Черном море флот для овладения Варною. Предприятие требует больших издержек и будет стоить множества народа. Пригласить венский двор содействовать этому великому делу диверсией со стороны Белграда – это будет наименее выгодно для России, ибо венский двор захочет извлечь для себя такую значительную пользу, которая не будет согласоваться ни с действительным интересом России, ни с интересом других европейских государств. Уступить в некоторых условиях, особенно тяжелых для Порты, пожертвовать некоторыми выгодами в пользу мира, вознаградить себя Очаковым или Бендерами за уступки. Первое есть самое блестящее, но и самое опасное; второе даже самое слабое и наименее политичное; третье находится в середине между обоими; это путь самый верный, и можно считать его самым благоразумным».

В ноябре получено было в Петербурге донесение прусского министра в Константинополе, что турки могут уступить России Кинбурн, если она отстанет от требований Керчи и Еникале. Мы видели, что и прежде в Совете соглашались уже не требовать Керчи и Еникале; и теперь начались толки, что приобретение Кинбурна может быть нам полезно как для постоянного содержания на Черном море флота, так и для заведения в той стороне торговли не только с турками, но и с Польшею по удобству водяного сообщения из него; что для этого надобно будет основать на Днепре ниже порогов торговый город, которому Кинбурн, отрезанный каналом от твердой земли, служил бы, как Кронштадт Петербургу; а для сообщения с Кинбурном сухим путем должно получить нам от татар весь левый берег Днепра верст на пять шириною. Гр. Панин, «министр иностранных дел», как его начали называть, представлял, что Порте трудно отказаться от Керчи и Еникале в нашу пользу, а нам неудобно их содержать, и требовал, чтоб прусскому министру в Константинополе было поручено устроить дело соглашения на этом основании. Но Орлов опять представил свои возражения: Кинбурн, крепость небольшая, не имеющая гавани, не может вознаградить за уступку Керчи и Еникале, не может принести никакой пользы; торговля будет подвержена затруднениям по причине порогов и мелей; и если уже непременно нужно будет отдать Керчь и Еникале татарам, то должно стараться получить вместе с Кинбурном Очаков и всю землю, лежащую между Днепром и Днестром, не допуская татар селиться в Бессарабии. Ему возражали, что турки на это не согласятся. По случаю этих споров в Совете признались в ошибочности плана относительно независимости татар, признались, что «на совершенное татар от турок отделение потребно еще много времени и трудов». Сама Екатерина пристала к тому мнению, что турки не согласятся на уступку Очакова. Орлов представлял, что можно согласиться на сие разорение; что тогда, выговорив в трактате свободу обеим сторонам строить крепости, можем построить вместо Очакова лучшую крепость; если мы будем иметь землю между Днепром и Днестром, то станет выходить множество мол-

даван и валахов и скоро всю ее заселят, земля эта станет тогда преградою между турками и татарами, пресечет между ними всякое сообщение сухим путем. Захар Чернышев возражал, что земля эта обойдется нам дорого, нужно будет заводить там крепости и держать в них гарнизоны. Орлов отвечал, что нет нам никакой надобности в крепостях. Кто-то заметил, что у татар будет плохая вольность, если оставить за султаном как калифом верховную власть в верховных делах, если допустить, что татарские судьи будут определяться константинопольским муфтием. Панин на это повторил признание, что независимость татар вдруг утвердить никак нельзя, что это дело еще много трудов потребует. Наконец, Екатерина приказала чрез прусского министра внушить туркам, что Керчь и Еникале оставлены будут татарам, но за это Россия должна получить Очаков и Кинбурн, и при этом объявить, что императрица никогда не отступит от условий о татарской вольности и от плаванья по Черному морю, хотя бы война продолжалась еще 10 лет. Когда Екатерина вышла из Совета, Панин предложил на его решение вопрос: как заключить мир с Портою, непосредственно ли или посредством австрийского и французского дворов? Совет решил, что непосредственно, хотя бы мы этим способом и не получили тех выгод, какие могло бы нам доставить постороннее посредство.

Как ни протестовал Румянцев против тяжелого впечатления, произведенного его обратным переходом за Дунай, он видел хорошо, что нельзя дать году окончиться под этим впечатлением. В октябре он отправил за Дунай два отряда войск под начальством генерал-поручиков барона Унгерна и князя Долгорукого, которые напали на турок у Карасу и нанесли им совершенное поражение: весь лагерь с 11 пушками, 18 знамен, три бунчука, множество военных припасов досталось победителям; турки потеряли 1500 убитыми и 772 пленными, в том числе был трехбунчужный паша Омер; город Базарджик, оставленный неприятелем, был занят русскими. Унгерн и Долгорукий немедленно отправились далее, чтоб *схватить* Варну и Шумлу, по выражению Румянцева. Генерал-поручик Потемкин в то же время осаждал Силистрию, и на помощь к нему двинут был генерал-поручик Глебов. Румянцев воспользовался этими успехами, чтоб отделаться от составления плана для будущей кампании, которого у него требовали из Петербурга. Он писал императрице: «Я питаю и теперь в себе ту же прискорбность, с которою поступил я на обратный переход из-за Дуная; но в. и. в-ство в моих донесениях кроме причин, к тому нудивших, соизволили видеть исполнение, в том последовавшее, согласно совета всех генералов, из которых, ежели бы хотя один тогда вызвался знать лучшие к чему-нибудь способы, я бы, конечно, в том каждому последовал. Я ждал времени и случая и сими обоими воспользовался знаменитее, нежели иногда от самых больших предположений. Плен из неприятельских войск немалый, и между оным первостепенных чинов; получили всю артиллерию неприятельскую; и город Базарджик был в наших руках без всякой почти потери и без пушечного выстрела, ибо меры наступления и действий наших толь удачно приняты в сию пору, что неприятель толико стеснен и нуждою и страхом, что бежит от лица идущих на него войск, потеряв свой стан и лишась толь нужных ему приготовлений для зимы. Планы, обыкновенно делаемые в начале только войны или в начале кампании для согласного учреждения Движений и содействий, предполагаемых от разных и дальних пунктов или в общем деле с союзниками, бывают, однако ж, подвержены нередкой перемене, но при сближении к неприятелю предается тогда искусству военачальника располагать дальние предприятия на него по видимой на то время и удобности, и предстоящим обстоятельствам; и я долгое уже время со вверенными мне войсками разделяюсь с неприятелем, и то не везде, одною только рекою; следственно, сколько ежедневно может² перемещать свое положение, столько неудобно, а наипаче теперь, назначать и нам свои против него действия на будущее время, которые, по моему мнению, зависят более от случаев и начального на то время усмотрения, ибо сии последние части открывают путь к

² неприятель

знаменитым предприятиям, нежели великие предположения быть могут выполнены без препятствия и затруднения».

Приехавший с этим письмом 14 ноября кн. Васил. Долгорукий обнадеживал императрицу, что дней через шесть могут быть получены известия об успехе Унгерна и кн. Юрия Долгорукого. Но прошли две недели с лишком, и 29 ноября получено известие, что предприятие Унгерна на Варну не удалось, а кн. Долгорукий, сделавши один переход к Шумле, возвратился назад к Карасу. О том, что делалось под Силистриею, фельдмаршал ничего не писал. «Что у Силистрии произошло, – писала Екатерина Румянцеву, – о том вовсе вы не упоминаете и оставляете меня в глубоком неведении, а мысли мои в произвольном волнении, которые, однако ж, более склонения имеют ни малейшей полагать надежды на бомбардираду, с которой город не возьмется, ниже больший ему вред не причинится. Но хотя следствия у Карасу произведенного бою не были таковы, как на первый взгляд они обещали быть, однако же не менее сие дело подтвердило, с одной стороны, утвердившиеся мнения о храбрости наших войск и что в поле сей неприятель поверхности не будет иметь в теперешнем оного состоянии и обстоятельствах, лишь бы где атакован был, а с другой – не может иначе как полезно быть для дел наших всякое за Дунаем ваше предприятие; и тут, конечно, всякий ваш шаг споспешествует или отдалает народный покой и тишину, совокупленную с блаженством оного. И в таком виде с немалым удовольствием услышала я о карасуйском деле; сожалею только по позднему годовому времени, что все сие не может иметь толиких польз, как из того произойти могло, если бы предпринималось месяцев с шесть тому назад». Сделав таким образом внушение Румянцеву, что он сделал дурно, вернувшись из-за Дуная, что на нем лежит ответственность за продление тяжелой войны, Екатерина продолжает: «Но дабы будущий год также по-пустому не прошел и дабы недостаток в пропитании опять не служил препятствием к действию, не могу оставить вам сызнова накрепчайшим образом подтвердить, чтоб вы старались к будущей кампании наполнить ваши подунайские магазины так, как я к вам писала, дабы действиям вашим на супротивном берегу не могло причиниться остановки, и кампания та не прошла без достижения мира сильным употреблением оружия, о чем немедленно от вас ожидаю много уже раз мною от вас требуемого мнения, которое, если еще долее замедлится, опасность настает, что не ко времени приспее; и, следовательно, на будущий год во всем паки опоздать можем, в чем ни пользы, ни славы, ни чести не вижу. Каковы бы усердие и ревность в сердце империи служащих знаменитых людей, как вы, ни были, каковы труд и радение, мною ежечасно прилагаемые, ни будут, но свет вас и меня судит по одним успехам нашим; сии нас в мыслях людских оправдают (оправдывают) и обвиняют попеременно, а наипаче в теперешнее время, когда после пятилетней счастливой войны подданные ждут мира единственно от действий ваших». 30 декабря Совету объявлена высочайшая воля: предписать гр. Румянцеву, чтоб он в будущую кампанию по взятии Варны и разбитии визиря в Шумле не полагал Балканы пределом военных действий. Положено заготовить к нему рескрипт, где, выразив эту волю, оставить производство действий за Дунаем на его благоусмотрение.

Разрыв мирных переговоров вызвал к деятельности и русский флот. Еще в сентябре 1772 года новоприбывшая из Балтийского моря эскадра под начальством капитана Коняева сожгла при Патросе 16 турецких судов; в то же время русские суда «делали неприятелю разорение и тревогу» у берегов Египта и Сирии, где поддерживали восставшего против Порты египетского пашу Алибея. В 1773 году русские корабли явились снова у берегов Сирии под начальством капитана Кожухова. Друзья обязались признавать над собою покровительство России и воевать с турками, пока русские воюют с ними; русские осадили Бейрут, принудили его к сдаче и отдали крепость друзьям, которые по условию заплатили им 250000 пиастров; деньги эти были разделены по эскадре, причем десятая доля пошла главному командиру над всем флотом. Между начальниками судов в этих экспедициях мы видим греков и южных поморских славян, которые, по отзыву Спиридова, «для своих прибылей гораздо храбрее, нежели как из одного только

жалованья служили». Любопытно, что Орлов запретил нейтральным судам вход в Дарданеллы и предписал Спиридову, чтоб тот и при постановлении условий перемирия настоял на этом запрещении. Но Совет решил изъяснить Орлову, что это может не только удержать турок от заключения перемирия, столь нужного для России, но и обратить против малочисленного русского войска все силы и притом ввести нас в новую войну с «ненавидящими нам» французами.

Императрица была недовольна тем, что флот, не имея десанта, не мог сделать ничего важного, не мог помочь сухопутной армии принудить турок к заключению мира. Осенью 1773 года находились в Петербурге гр. Алекс. Григор. Орлов и контр-адмирал Грейг. В Совете происходили любопытные рассуждения по поводу их требований. В заседании 3 октября императрица спросила членов Совета, с какою целью они хотят посылать новую эскадру в Архипелаг; находящийся там флот стоит много, а не может наносить вреда неприятелю. «Если он, – сказала Екатерина, – может быть употреблен для какого-нибудь предприятия и надобны будут на него сухопутные войска, то я беру на свое попечение их доставить». Ей отвечали, что эскадра отправляется по требованию гр. Алексея Орлова для перемены обветшалых кораблей, и если флот не находит способа вредить неприятелю, то все же облегчает сухопутную армию, отвлекает от нее неприятеля. Императрица приказала при будущих рассуждениях о флоте приглашать в Совет гр. Алексея Орлова и прибавила, что, любя порядок, почитает своею обязанностью наблюдать, чтоб ничто в ее империи не оставалось без пользы. Через три дня, 7 октября, в Совете присутствовал Алексей Орлов. Императрица спросила его, в каком положении находятся дела в Архипелаге и нельзя ли извлечь из флота большую пользу. Орлов отвечал, что из находящихся там кораблей пять совсем обветшали, что в нынешнюю кампанию он намерен был разорить Салоники и Смирну для пресечения привоза запасов к неприятелю чрез эти места, но болезнь принудила его оставить флот. «Я не думаю, – говорил Орлов, – чтоб неприятельский флот мог появиться в архипелаге; турки с тех пор, как узнали малочисленность наших сухопутных сил там, уж не так их опасаются; побеждаемы они были малым числом, потому что обыкновенно пугаются всего того, о чем не знают, но, пришедши потом в себя, принимают достаточные меры». Тут начал говорить гр. Григорий Орлов: «Это свойственно туркам, как и всем невеждам; потому-то и не надобно давать им время на размышление, а стараться пользоваться их замешательством; также надобно поступать с ними и при мирных переговорах; этим средством можно скорее получить желаемое». Императрица заметила, что, по ее мнению, полезнее предпринять что-нибудь на одном европейском берегу как ближайшем к неприятельской столице. На это Чернышев и Алексей Орлов отвечали, что с малым числом войск нельзя утвердиться на этом берегу, где неприятель может собраться тотчас в числе 40000, и потому предприятие может принести одну пользу – встревожить турок на время и привлечь их силы в ту сторону. Гр. Панин заметил, что отправление в Архипелаг новой эскадры может причинить неприятелю новые беспокойства и он надеется, что зимою турки возобновят мирные переговоры. Императрица отвечала на это: «Мое намерение состоит в том, чтобы, не полагаясь на заключение мира, приняты были сильные меры для достижения этого к будущей кампании; долгая война приводит народ в уныние, и потому никто так мира не желает, как я. Надобны ли во флот сухопутные войска и сколько, довольно ли 20000?» Алексей Орлов отвечал, что с 20000 мог бы он идти прямо на Константинополь. Императрица спросила: «Нельзя ли овладеть Галлиполи; я бы могла доставить на флот четыре или пять тысяч иностранного войска». Чернышев отвечал, что от иностранного войска будут большие неудобства; а Панин заметил, что враждебные державы, узнав об этом, могут выставить препятствия. «Кроме всех неудобств при употреблении иностранных войск, – сказал Алексей Орлов, – всякий успех будет им приписан; для избежания мнения, что мы без англичан ничего сделать не можем, я всегда старался употреблять, сколько можно, своих офицеров». Императрица на это заметила, что при Петре Великом были примеры употребления иностранных войск и надобно сравнивать неудобства

с выгодами. Екатерина вышла из Совета, выразив ясно свое неудовольствие на ход войны. «Флот, – сказала она, – не делает ничего, и армия едва действует, а неприятель этим пользуется, и все это происходит собственно от нас». По выходе императрицы Алексей Орлов предложил Совету отправить с Грейгом новую эскадру, не теряя удобного времени, разрешив ему бить встречных варварийцев; Совет согласился. Орлов предлагал также не заключать с турками перемирия, чтоб не дать им в это время пользоваться советами французов. О себе Орлов говорил, что видит волю императрицы, чтоб он продолжал начальствовать над флотом, от чего как усердный сын отечества не уклоняется, но не может отвечать за себя в исправном исполнении возложенного на него дела, потому что подвержен частым болезненным припадкам, 21 октября Грейг вышел из Кронштадта с двумя кораблями, двумя фрегатами и шестью транспортными судами.

Положение дел в Крыму также должно было возбуждать неудовольствие Екатерины, причем она имела большее право говорить, что это происходит собственно от нас. Мы видели, что калга Шагин-Гирей выехал из Петербурга в Крым. Этот татарский дофэн недаром привлек к себе внимание Екатерины и двора ее своими способностями. Перенесенный из степей в верхний слой петербургского общества, он отдался в плен цивилизации, выговорив себе только сохранение татарской шапки и памяти о происхождении от Чингис-хана. Но эта память жила в нем не напрасно. Чудеса цивилизации, могущество, которое, по-видимому, она давала прежним данникам татарским, возбуждали в Гирее страшное честолюбие. Он хотел во что бы то ни стало воспользоваться роковым подарком, предложенным Россией, хотел с ее помощью утвердить независимость Крыма, оторгнуть его навсегда от обветшавшей Турции, сделаться ханом, но он не хотел на этом останавливаться, не хотел менять зависимости от Порты на зависимость от России. Он хотел приобрести могущественные средства цивилизации, могущие дать ему силу, умение поддержать свою самостоятельность. Ничтожность крымских владений, разумеется, бросалась при этом в глаза как главное препятствие, но Шагин-Гирей знал, что Чингис-хан и Тамерлан начинали также с малого и доходили до обширнейших империй; он уже мечтал о близком Кавказе, о его воинственном населении, которое может так хорошо служить для завоевательных замыслов, о сокровищах, которые лежат нетронутыми в недрах пресловутых гор и которые должны вскрыться на голос цивилизации и обогатить новую черноморскую империю Гиреев.

С такими-то мечтами возвратился Шагин в Бакчи-сарай; здесь он продолжал высказывать приехавшему с ним кн. Путятину свое чрезвычайное усердие к России, открыл ему, что существует в Крыму партия, желающая возвратиться в турецкое подданство. «В надежде на бога и на заступление императрицы, – говорил калга, – по сие время вижу себя в силах управиться с общими злодеями. Я зашел теперь в лес, издавна без присмотра запущенный; если я не смогу искривившееся по застарелости дерево распрямить, то буду его срубить». О брате своем хане он говорил: «Может ли человек, сев на необъезженную лошадь, ехать по воле своей надлежащим путем, когда отдал другому повода в руки?» Но скоро Шагин был озадачен и справедливо раздражен уступчивостью России, которая в переговорах с Турцией соглашалась признать власть султана над Крымом в духовных делах, вследствие чего все судьи в Крыму должны были назначаться константинопольским муфтием и по пятницам должно было совершаться всенародное молебствие за султана. Шагин говорил Путятину: «Все это не только знак верховной власти Порты над Крымом, но и знак прежней приверженности его к ней, так как единство веры несколько не обязывает Крым сохранять свою связь с Турцией; есть много магометанских владений, которые не только не подвластны Порте, но и ни малейшего сношения с нею не имеют». Слезы навернулись на глазах у Шагина от досады, и он продолжал: «Если так будет, то ни брату, ни мне здесь оставаться нельзя: наше состояние будет похоже на состояние человека, у которого над головой висит большой и плохо прикрепленный камень, могущий всякую минуту его задавить; подданные наши при таком положении по непостоянству своему

и скотским нравам будут иметь возможность делать непрерывные возмущения как сами по себе, так еще более по проискам султанов (крымских Гиреев), которых немало в Турции».

От 13 марта Путятин писал в Петербург: «Велико здесь общее к нам недоброжелательство; калга показывает чистосердечное к нам усердие, противоборствуя этому недоброжелательству. Все злоумышленные вероломцы здешнего общества его ненавидят, страшатся и простирают мысли свои, как бы его избыть». Калга говорил Путятину: «Я и прежде хорошо знал беспутство своих одноземцев, но теперь нашел их вдесятеро еще хуже и развратнее, чем были прежде. С людьми, такими неблагодарными, русским и мне враждебными, остаться я не могу, потому что обещал ее и. в-ству быть навсегда ей верным; если дела будут продолжаться в таком же беспорядке и сил моих неостанет России и себе быть полезным, то, покинув родную страну, принужден буду искать убежища под покровом императрицы».

Хан. по возвращении калги собрал совет из знатнейших лиц. Шагин-Гирей превозносил щедроты русской государыни и объявил, что будет всегда благодарен за это и усерден к русскому союзу, ибо видит в этом союзе прочное и постоянное благоденствие Крыма вообще и каждого его жителя в особенности. Потом спросил у собрания, что произвело непостоянство в их поведении, что побудило к коварству, обману, нарушению клятвы, что имеют они в виду: желают ли вольности, которая как главное в жизни человеческой блаженство доставляется покровительством ее и. в-ства. «Мы находимся между двумя могущественнейшими державами в мире, – был ответ, – обеих их, России и Турции, мы одинаково боялись; находясь в опасности от первой, соглашались на все ее предложения и в то же время, боясь другой, сносились с нею, представляя привязанность к прежнему своему состоянию. Мы обмануты, огорчены Россиею, которая отнимает у нас собственные наши земли и, обращаясь с нами лживо, во всех своих поступках при всяком почти случае дает нам чувствовать свою жестокость». Калга возражал, что ничего подобного Россиею не сделано, и если б она хотела мстить им за их вероломство, то обратила бы их земли в пустыню и лишила бы их дневного пропитания, что и сделается, если они, ведя себя коварно относительно России и ставши подозрительны Порте, будут продолжать пагубное колебание. «Если, – говорил Шагин, – вы хотите быть вольными с помощью России, то выдайте мне немедленно возмутителей общего спокойствия, подавших повод к нарушению клятвы». Шагин поступил неосторожно, повернул слишком круто; на его требование отвечали глубоким молчанием. Раздраженный этим калга не мог уж остановиться и потратил последний заряд. «Данные вами клятвы, – сказал он, – и полномочие на меня возложенное при отъезде в Россию обязывают вас мне повиноваться; но если вы откажетесь от повиновения, то я принужден буду уехать из отечества». Ему отвечали: «Мы вас не удерживаем, на ваше место найдется много людей, а, впрочем, хан ваш и наш государь, ему одному обязаны мы повиноваться».

После этого Шагин-Гирей сообщил командующему Второй армией кн. Долгорукому о своем желании сделаться самовластным ханом над татарами, ибо только в таком случае он может утвердить самостоятельность Крыма; иначе же он там оставаться не может. Совет, получивши донесение кн. Долгорукого, рассуждал, что взгляд калги-салтана совершенно основателен и справедлив, но все же при настоящих обстоятельствах поступить так нельзя: эта перемена нарушила бы наши договоры с татарами и подала бы туркам повод опять склонять их на свою сторону; на совершенное отделение татар от турок надобно употребить еще много лет. Решено, чтоб гр. Панин отправил к Шагин-Гирею письмо, где похвалил бы калгу за его усердие, объяснил в общих выражениях невозможность исполнить его желание, обнадежил покровительством императрицы и обещал во всяком случае убежище в России. Панин написал Шагин-Гирею (от 14 июля): «Ежели бы дела до такой крайности дошли, чтоб вы не нашли полной для себя в отечестве безопасности и дальнейшее вам там присутствие оказалось бы действительно бесполезным для вразумления татар, а для вас собственно бедственным, то от вас будет зависеть возыметь прибежище в границы ее в-ства империи». Шагин-Гирею не оста-

валось ничего другого, как выехать из Крыма, и он написал Долгорукому, что «бог, видно, за грехи удалил его из отечества и странствовать пустил по чужим углам и дворам». Шагин просил удалить его в такое место, где бы его никто не знал. На донесение Долгорукого императрица отвечала (от 4 октября): «Калга-салтан, восприяв при обстоятельствах отечества своего, для него опасных, в границы империи нашей прибежище, совершенно достоин сам по себе, так и для могущих быть примеров, чтоб при сей постигшей его крайности видел продолжение к себе нашей милости. Мы за пристойнее, однако, находим остаться ему до времени и еще на границе, нежели взяту быть тотчас сюда ко двору нашему, ибо в последнем случае он имел бы оказаться как бы вовсе уже отторгнутым и навсегда удаленным от своего отечества и от всех татар к обрадованию и подкреплению своих недоброжелателей и к погашению памяти своей в народах, еще недавно искренно и усердно его почитавших. Итак, имеете выдать ему уразуметь сии уважения, требующие не отставать ему совершенно от татар и не казаться отчаявшимся от участия их дел и правительства, но в готовности и состоянии находящимся при первом удобном случае явиться и вступить в оное». Шагин поселился в Полтаве, получая на содержание по 1000 рублей в месяц.

Неприятные вести с Дуная, неприятные вести из Крыма, из Польши особенно неприятных вестей не было, но там дело затягивалось, вследствие чего нельзя было выводить оттуда войска.

От 18 января Станислав-Август писал Екатерине: «Среди бедствий, меня окружающих и грозящих мне, осмеливаюсь быть уверенным, что найду в вашем и-ском в-стве снисходительного судью всех моих поступков со времени раздробления Польши, судью тем более снисходительного, что в. в-ство, будучи одушевлены естественною справедливостию, собственным величием и, позвольте прибавить, прежними милостями ко мне, без сомнения, обратите внимание на все, что я должен был делать, исполняя обязанности моего места, сохраняя чистоту моей репутации, уничтожая ложные слухи, к несчастью слишком распространенные, будто я знал все заранее и даже был участником договора, лишившего Польшу части ее владений. Тяжелый опыт научил меня слишком хорошо, что недостаточно быть всегда на деле безупречным и что клевета может стать пагубною для самих государей (особенно в положении, подобном моему). Вы это знаете, и потому я верю, что в глубине своего сердца вы сами страдаете от бедствий, которые я претерпеваю; верю, что вы заняты мыслию о том, как бы их смягчить. Позвольте же обратиться к вашим старинным титулам моей благодетельницы и друга, и удостойте меня выслушать о прошедшем и настоящем. Не теперь только я узнал трудности положения, когда нельзя соединить того, чего бы хотелось, с тем, к чему долг обязывает. Более шести лет эти затруднения составляют мучение моей жизни. Поставленный между благодарностью, влекшей меня входить в ваши виды, и противоречащим этим видам подчинением моим национальной воле, я провел все это долгое время в заботах, как бы уничтожить это противоречие, и встречал с обеих сторон сопротивление неодолимое. Я ссылаюсь на ваше импер. в-ство, сколько употреблял я для этого усилий, со сколькими просьбами, нежными и настоятельными, я обращался к вам для этой цели и чего я не делал для успокоения моего народа, для внушения ему начал благоразумия и его истинных интересов! И какой же результат всех этих забот? Среди народа, которому я жертвовал всем, я встретил нож убийцы, и вы, государыня, которой я не предпочитал ничего, кроме моих обязанностей, вы лишили меня части ваших милостей как неблагодарного. Таким образом, моя добросовестность была причиною моих несчастий. Но против этих несчастий неужели нет никакого средства? Ваше величество так усердно воздает почести добродетели, так ревниво бережете для себя значение ее подпоры и так достойны этого; неужели только относительно меня одного она потеряет права в вашем сердце? Нет, я позволяю себе надеяться, что я вытерпел долгое и жестокое испытание, которое должно иметь конец и получить награду. Вы можете сделать все для меня и для моего отечества. Я вполне поручаю вам свои частные интересы; но я должен ходатайствовать за этот несчастный остаток,

который должен носить еще имя Польши. Вам стоит только захотеть, и все будет вам возможно. Ваши союзники уважат вашу волю, как скоро вы ее объявите. Если они заставили вас сделать Польше зло, то заставьте их в свою очередь сделать ей добро. Приобретите перед ними эту драгоценную выгоду, столь достойную быть угодною вам. Я искал повсюду помощи и не нашел нигде. В этом беспомощном состоянии я вижу приближение минуты, когда я с моим народом должен преклониться перед роком; я это чувствую и не намерен по-пустому сопротивляться. Но прежде чем я подвергнусь ударам судьбы, умоляю, не откажите мне в утешении, сообщите мне о том, что вам угодно сделать для нас, какое вознаграждение назначает нам ваша справедливость, и, если всякая надежда спасти Польшу становится невозможною, удостоьте принять просьбу о том, что я считаю необходимым в том положении, в каком Польша будет находиться, и что может хотя несколько смягчить ее бедствия».

«Ваша откровенность, – отвечала Екатерина, – заставляет меня заплатить вам такую же откровенностью. Мой характер не знает другого языка, и этот язык я употребляла всякий раз, когда говорила с вами о ваших интересах и об интересах вашего народа. Когда обстоятельства переменились и дошли до той степени, на какой находятся теперь, то мне нельзя отдельно от моих союзников соглашаться или благоприятствовать тому или другому распоряжению, более или менее свойственному положению вашего государства. Ссылаюсь на ваше величество и на публику: в то время, когда я одна принимала участие в ваших делах, не делала ли я всего, не жертвовала ли я всем для устройства этих дел в пользу республики? Доведенная до крайности интригами и партиями вашего народа, я должна была войти в соглашение с двумя другими соседями Польши, чтоб общими силами покончить с ее смутами и бедствиями, отзывавшимися и в наших собственных государствах. Несмотря на все затруднения, причиненные поляками в моих делах, я в своем соглашении с соседями не потеряла из виду блага Польши. Это благо состоит для вашего величества в целостности вашей короны, для нации – в прочном успокоении, в свободном правлении, более правильном, более спокойном, более безопасном для нее самой и для соседей. Что касается подробностей, то мой министр и министры двух других дворов снабжены одинаковыми инструкциями. Поговоривши так откровенно с вашим величеством, я бы вечно упрекала себя, умолчав, что потеряю всякую надежду видеть упрочение для вас выгод этого соглашения, если и теперь вы будете слушать гибельные советы тех, чьих интриги низвергли ваше государство в пучину смут и раздоров, в анархию, грозившую ему окончательным разрушением, от чего оно было предохранено только вмешательством трех соседних держав».

Инструкции для министров трех дворов, упоминаемые императрицею, были отправлены Штакельбергу 24 февраля. В них говорилось: «Если будет замечено, что король ввиду необходимости расположен войти в виды трех дворов, то можно войти с ним в соглашение относительно направления сейма, разумеется, когда будет уверенность, что никакой интерес, никакая интрига, никакое чуждое влияние не могут тут вмешаться ко вреду трех дворов. Король исключается тем менее, что в этой чисто национальной операции признано полезным допускать деятелей всякой партии, если только они искренно захотят покончить со смутами своего отечества (эти строки первоначально были написаны рукою самой Екатерины). Министры должны иметь на сеймиках известное число верных людей; которые обязаны направлять все к предположенным целям; при назначении этих лиц надобно иметь в виду не количество, а качество. Так как одна сила недостаточна для того, чтоб заставить сеймики действовать в видах трех дворов как при назначении депутатов, так и в даче им инструкций, то необходим подкуп, для которого три двора назначают при своих министрах кассу; доля каждого двора не может быть менее 150—200 тысяч талеров. Касса находится в общем распоряжении троих министров, и без согласия всех троих не делается из нее ни одной выдачи. Агенты, зная сильную и слабую стороны каждого сеймика, дают знать министрам, какое средство должно быть употреблено преимущественно или в какой степени должны быть употреблены все средства; и министры вследствие

этого извещения употребляют или военную силу, или увещание, или подкуп. Так как нет никакой возможности достигнуть чего-нибудь на свободном сейме при *liberum veto*, то министры должны устроить сейм конфедерационный (под узлом конфедерации, как говорили поляки). Настоящие агенты, которых министры будут избирать, должны быть люди среднего класса, не связанные ни с варшавским двором, ни с саксонской партией и которые исключительную возможность улучшения своей участи будут видеть в прекращении бедствий отечества. Когда сейм начнет свою деятельность, министры потребуют от него назначения депутации для переговоров с ними; во время этих переговоров министры не позволят никакого спора о правах их дворов на области, назначенные к разделу, никакого ограничения или уменьшения участков каждого двора, должны настаивать на уступку полную и решительную со стороны республики. Министры должны вытребовать все архивы и документы, относящиеся к уступленным странам. Что касается конституции республики, то должно быть возобновлено и утверждено навсегда правление избирательное; впредь должен избираться в короли только польский шляхтич, рожденный в Польше и тамошний землевладелец; иностранные принцы исключаются навсегда. Сыновья и внуки последнего короля не могут быть избраны непосредственно за отцом или дедом, они могут быть избраны по крайней мере через два царствования. *Liberalum veto* остается законом неизменным. Министры прежде всего должны иметь в виду сохранение настоящего короля на престоле. Все преобразования должны клониться к восстановлению равновесия между властью короля, Сената и шляхты (*ordre equestre*). Для этого король не должен посредством своих родственников увеличивать свою власть на счет двух других сил в государстве, следовательно, королевские родственники не должны занимать никаких должностей; но, так как нельзя лишить их прав, принадлежащих каждому шляхтичу, то постановить, что дядья, братья, родные и двоюродные короля и королевы, не могут быть министрами и гетманами, не могут быть сенаторами, воеводами, каштелянами и занимать всякую меньшую должность. Тайный совет королевский может состоять только из сенаторов, назначенных сеймом. Так как влияние короля на комиссии, военную и финансовую, возбудило тревогу в народе, то эти комиссии должны уничтожиться и должности гетманов и подскарбиев должны быть восстановлены в прежнем значении, если большинство этого желает. Только должны быть предотвращены старинные злоупотребления, у гетманов должно быть отнято право жизни и смерти над военными, и подскарбии не должны по произволу располагать деньгами республики; для этого при гетманах и подскарбиях должны быть советы, членом в которые назначает не король, а выбираются они воеводствами каждые два года. Войска, находящиеся теперь под начальством короля, перейдут под начальство великих гетманов, и на будущее время польский король не должен иметь ни войска, ему принадлежащего, ни войска республики, находящегося под его начальством. Так как влияние вельмож, и именно королевской фамилии, в судах служит к притеснению народа и нарушает равновесие власти, то президенты и члены судов будут избираться дискриптами и воеводствами и должны быть изданы законы, которые бы освободили суды от всякой зависимости от короля и вельмож. Так как шляхетство, составляющее третью власть, уступает относительно влияния двум другим властям, королю и Сенату, и является периодически на сеймах, тогда как две другие власти имеют постоянную деятельность, то хорошо было бы постановить, чтоб между сеймами несколько шляхетских депутатов заседало в Сенате с правом протеста против всех решений, несогласных с конституцией или привилегиями их сословия. Так как королевские имения уменьшились вследствие раздела, то надобно прибавить к ним несколько староств, чтоб доход короля был не менее 400000 дукатов. Раздача остальных староств остается за королем; но должно быть постановлено, чтоб одному дому (*maison*) нельзя было пожаловать более двух староств, которые вместе не должны давать более 8000 дукатов годового дохода, так что если кто имеет одно староство, приносящее такой доход, то другого получить уже не может. В Польше единодушно желают умножения войска, и действительно это нужно для поддержания порядка и спокойствия; войско правительства гораздо меньше войска

частных людей, которые поэтому могут безнаказанно смеяться над властью. Не будет никакого неудобства для соседних держав, если войско республики увеличится на 6000 человек. Так как диссидентское дело есть одно из самых существенных при успокоении Польши, то три министра должны содействовать соглашению между диссидентами и католиками. С той и другой стороны могут быть сделаны уступки: диссиденты могут отказаться от вступления в Сенат и от министерских мест, а католики – от наказания за переход из католичества в другое исповедание, – это закон варварский, которого нельзя более терпеть в просвещенный век. Остальные права диссидентов должны быть удержаны за ними во всей силе» (*особенно право быть депутатом на сеймах*, прибавила Екатерина). В инструкциях была статья, что король не может покупать земель в Польше и Литве. Екатерина зачеркнула статью, написавши: «Я зачеркнула эту статью потому, что в избирательном королевстве земли короля после его смерти сделаются опять шляхетскими (*terres nobles*); статья увеличила бы только крики безо всякой для нас существенной пользы; кому нечем жить, тот не покупает земель».

Еще в конце 1772 года Екатерина писала Панину по поводу донесений Штакельберга о созвании Сената: «Читав сие, мне пришло на ум, чтоб пользоваться сим случаем и отпустить к сему сенатус-консилиум тех сенаторов, кои у нас в Калуге содержатся. Сие на первый взгляд, может быть, странно покажется, но в самом деле может сделать разные полезные импресии. Бояться их нечего, ибо три державы всю нацию держат в почтении. Боязливые примером сих людей устрашаться будут. Многие увидят, коль мало мы их интриг и интриганта уважаем в сем случае; иные же похвалят сей поступок; другим отнимется один способ более противу нас кричать, а будут и такие, у которых атенция оборотится более к сему добровольному поступку, нежели к самому дележу. В том числе будет родня и клиенты сих людей. Теперь прошу сказать те причины, кои противоречат сему моему мнению: мне никаких на ум не приходит. Если же нет никаких, то быть по сему. Чарторыйским сие приятно быть не может, ибо сии люди были саксонской партии коренные *boute-feux* (поджигатели). Всем же прочим сенаторам отнимет сей пример случай отговариваться от съезда, без которого желаемый нами сейм состояться или, лучше сказать, собраться не может». Панину не пришло на ум никаких возражений, и калужские заточники были освобождены.

Прежде всех приехал из Калуги в Варшаву Солтык. По словам Штакельберга, Цицерон не мог наделать более шума в Риме по возвращении из ссылки. Вся Варшава пришла в движение: папский нунций, епископы и вся знать выехали к нему навстречу; толпы простого народа теснились около его кареты с криком: «*Vivat!*» Солтык одет был в изношенное платье, плеши-вая голова была открыта, вид имел сокрушенный, сидел, потупив глаза, и беспрестанно творил крестное знамение. Двери его дома тотчас же отворились для всех бедных, сам он пешком ходил по церквям и служил обедни. Встретив его у королевской сестры, к которой он приехал в сопровождении 50 человек бенедиктинцев, Штакельберг сказал ему, что публика получила бы еще высшее понятие о его святости, если б он оставался спокойно дома, отдыхая с дороги. Солтык очень приутих после этих слов. Он два раза приезжал к Штакельбергу, тот был у него раз; и все три свидания были посвящены тому, чтоб «укротить энтузиазм епископа оружием рассудка и очевидности». Успех, по-видимому, остался на стороне укротителя: Солтык начал повторять, что не сделает ни одного шага, не скажет ни одного публичного слова, не посоветовавшись с Штакельбергом. Он попросил у посланника позволения писать императрице и получил его. Письмо было написано в самых почтительных выражениях: Солтык благодарил за милость, просил прощения за прошлое и поручал себя в высокое покровительство русской государыни.

19 февраля последовал ответ польского правительства на объявление трех дворов о разделе Польши. В ответе говорилось, что чрезмерность требований, предъявленных тремя дворами, усиленная выражениями обвинений и упреков, оскорбила чувствительность короля и Сената; что не соблюдено должного уважения к королю и республике, тогда как осторожное

поведение короля заслуживало другого. Впрочем, король по совету Сената, принявши во внимание серьезные угрозы и действительные опасности в случае отказа требованиям трех дворов, исполнил их желание, назначив сейм на 19 апреля. Наконец, король по совету Сената обращается к трем дворам с торжественным заявлением о необходимости вывести их войска из владений республики прежде начатия сеймиков, чтоб последние, равно как и сейм, могли идти свободно и национальная воля могла выразиться без стеснения и опасности. Министры трех дворов решили смолчать относительно тона этого ответа, они с самого начала приняли за правило позволять всякого рода декламации, которые не могут иметь последствий, оставить полякам это утешение, лишь бы главное дело шло своим чередом.

Сеймики должны были начаться 22 марта, но преданные люди, отправившиеся в провинции, представили Штакельбергу, что они не могут отвечать за приезд ни одного депутата из своих приятелей, если не будет обещано содержать их, ибо они находятся в страшной бедности. От сеймиков внимание Штакельберга невольно обращалось к сейму вследствие приведенной инструкции для послов трех держав. Он писал Панину, что, по его убеждению, требуемую в них отмену закона об отступничестве провести нельзя: «Слепой фанатизм поляков, способный пожертвовать всем, еще не представляет в этом деле такой трудности, как венский двор, а именно чувствительность императрицы-королевы к религиозному вопросу. Папа выхлопотал у нее приказание барону Ревецкому покровительствовать религии, особенно по этому пункту, и Ревецкий мне объявил, что имеет инструкцию и ведет отдельную по этому предмету переписку с императрицею. Как бы закон несправедлив ни был сам по себе, умоляю не настаивать на сию отмену, ибо от этого прежде всего потерпит ущерб согласие между обоими дворами и, во-вторых, ввод диссидентов в законодательное собрание – дело и без того очень трудное – станет невозможным. Наконец, форма правления, какую вводят дворы, и ограничения королевской власти возбудят против нас всю королевскую партию. Только ставя короля между страхом и надеждою, я успел привести его в страдательное положение и направлять Сенат. Как только Станислав-Август сведает будущую свою участь, то станет поднимать небо и землю, чтоб не сойти на степень театрального короля. Если, с одной стороны, мы будем иметь против себя всех друзей двора и, с другой – вооружим другую часть нации, раздражив ее религиозным вопросом, для нее самым дорогим и священным, то легко понять, что из этого выйдет. То же будет и относительно староств для вознаграждения короля, если надобно их будет взять при жизни настоящих владельцев». Панин отвечал, что если уничтожение закона об отступничестве встречает такое затруднение, то можно оставить его с изменениями или даже вовсе без перемены. Касательно староств Панин предписывал сообразоваться с желанием нации. Панин прислал также добавление к инструкциям, насчет которого Штакельберг должен был согласиться со своими товарищами; королю можно было предоставить право иметь гвардию из двух батальонов иностранных войск, для чего назначить особую сумму, ибо когда союзные войска оставят Польшу, то жизнь Станислава-Августа может подвергнуться опасности вследствие ненависти против него в народе за раздел Польши.

Панян для настоящей минуты больше всего требовал от Штакельберга согласия с его австрийскими и прусскими товарищами: «Остерегайтесь возбудить подозрение, что мы хотим поддержать наше господство, тогда как дело может совершиться только при совершенном равенстве трех дворов. Не связывать себе руки обязательствами, могущими загородить дорогу нашему влиянию, не отягчать отдельно от двух других дворов положения Польши, не отчуждать поляков действиями, которые могут быть приписаны одним нам, – вот все, что нам позволяет настоящая минута. Вместо того чтоб показывать себя слишком заботливыми насчет будущего, было бы полезно обнаруживать равнодушие; пусть заподозрят в этом ваше собственное искусство или политику вашего двора – поверьте, что наше дело от этого выиграет».

Сейм приближался, и Штакельберг прежде всего начинает жаловаться на Солтыка, который опять пошел наперекор намерениям и планам трех дворов; и когда Штакельберг сделал

ему серьезные внушения на письме, Солтык отвечал: «Тотчас по приезде моем в Варшаву в первых разговорах с вами и министрами двух других дворов я объявил вам откровенно, что не стану одобрять ваших намерений против Польши; я вам несколько раз повторял отдельно, что поляк, одобряя раздел своего государства, грешит против заповедей божиих, запрещающих касаться собственности ближнего, а кто одобрит такое дело, будет его сообщником: что по естественному закону каждый обязан защищать право отечества, если не хочет быть чудовищем; что если мы, сенаторы, одобрим это, то будем клятвопреступниками; кто дал нам власть сделать наших собратий рабами и чрез это приобрел ту же власть и над нами? Я вам постоянно объявлял, что сделаю все для вас, если в ваших требованиях не будет ничего противного моей совести и чести. Вы меня уверяли, что, зная хорошо мой характер и мой образ мыслей, вы не осмелитесь меня искушать. Шлюсь на полковника Бахметева и других офицеров, карауливших меня в тюрьме: разве я им не объявлял, что предпочту провести остаток дней моих в темнице, даже в Камчатке, на хлебе и на воде, чем получить свободу ценою блага отечества и совести моей? То же самое повторял я и вам и даже прибавил, что скорее лишусь жизни, чем подпишу пагубное решение против своего отечества. Не желая подтверждения раздела, я не мог желать сейма; не желая сейма, я не мог желать сеймиков, и поэтому я употребляю всевозможные усилия, чтоб их разорвать. Я вам открываю всю правду, а вы меня упрекаете, что я не сдержал своего слова. Вы меня упрекаете в поступке не очень искреннем, именно что я вам представил моих братьев родных и двоюродных и моих племянников как будущих депутатов; что вы называете обманом, я называю политическою штукою, хитростию, позволенною в подобных случаях, наконец, *restriction mentale*. Знайте, что я смолоду учился у иезуитов». Штакельберг отвечал ему: «Я не учился у иезуитов и ненавижу макиавеллизм; религию и нравственность никогда я не брал предлогом для прикрытия интереса моих страстей. Фанатизм, личный интерес, интриги, а не соседние державы причиною несчастья Польши; здравый смысл, истинный патриотизм и благоразумие должны его прекратить; когда вы отыщете в своем сердце смысл этих добродетелей, то, умоляю, уведомяте меня об этом, и я приму вас с отверстыми объятиями. Я не отвечаю вам насчет намерений дворов: они не по. вашей части».

«Солтык сумасшедший, – писал Штакельберг Панину 1 апреля, – но из таких сумасшедших, которых запирают. Я написал ему письмо, чтоб покончить с ним всякие сношения; я не велел принимать его писем, а за ним самим приказал присматривать. Верно, что этот человек наделал-таки зла. Изумительно, что сейм собирается; без внушений Солтыка он был бы не так шумен, как будет. На раздел смотрели как на беду неминуемую, а теперь толкуют о разрыве конгресса и об условиях, на которых нужно написать договор. Наконец через восемь дней занавес поднимется и великая пьеса станет разыгрываться; уверяю вас, что при этом мы будем иметь такие трудности, каких и не ожидаем. Возбуждение опасений и угрозы производят мало впечатления. Иностранные войска и без того поглощают все доходы частных лиц».

Сейм начался под узлом конфедерации. Но только что маршалы конфедерации коронный и литовский вошли в залу заседаний и первый депутат краковский открыл заседание объявлением конфедерации, как поднялся громадный литвин, именем Рейтан, и начал кричать на весь замок: «Не позволяю!» Крик этот продолжался трое суток, и сейм остановился. Когда маршал коронный конфедерации граф Понинский встал, чтоб постучать, по обычаю, палкой для восстановления порядка, Рейтан схватил другую палку и, ставши на маршальское место, закричал: «Я сам маршал и могу быть таким же хорошим маршалом, как и другой, выбранный в темноте и тайне!»

Бенуа и особенно командующий прусским войском генерал Лентулус предложили Штакельбергу схватить Рейтана; тот отвечал, что так как его прусское величество – равный участник в делах, то он, Штакельберг, согласен, чтобы прусские гусары схватили Рейтана, но что он решился не употреблять насилия, что им, послам трех союзных дворов, нечего тревожиться криками сумасшедших и он берет на себя заставить короля принять договор у себя во дворце,

не входя в посольскую избу. Чтоб исполнить это обещание, Штакельберг призвал к себе обоих канцлеров и просил их сообщить королю, что если он не приступит к договору в 24 часа, то послано будет приказание двинуть войска. Король не согласился и пригласил к себе Штакельберга на 11 апреля. Потом повторил ему то же самое и представил ему неудобства и замедления, какие произойдут от его прибытия в залу Сената, если Рейтан и товарищи его явятся туда, что и будет, по всем вероятиям. Король согласился собрать Сенат во дворце, велел канцлеру повторить угрозу Штакельберга и призвать маршалов конфедерации. «Все это сделано, – писал Штакельберг в Петербург, – маршалы произнесли речи, король приступил к договору, сенаторы подписали отдельно, палаты присоединятся 13 числа, Рейтан и его приверженцы испугались и просят милости, все спокойно».

Но гораздо было труднее провести новую конституцию. Король велел сказать Штакельбергу, что не позволит уменьшить ни в чем своих прав. Мы видели, что сейм должен был договариваться с послами чрез уполномоченных из сенаторов и депутатов; сеймовых депутатов послам трех дворов еще можно было набрать своих, но сенаторов назначал король. После отправили к нему список желаемых ими лиц, включив всех министров, между которыми находились его родственники. Станислав отвергнул этот список с непонятным упорством. Начали думать опять о движении войск; но Штакельберг писал Панину: «Умоляю исходатайствовать, что, если уступать во всем, эти войска должны очистить республику. Я должен повергнуть бедную Польшу к стопам нашей августейшей государыни и умолять за нее о милосердии. Вся Великая Польша из провинции богатой и населенной превратилась почти в пустыню вследствие занятия прусскими войсками, которым она доставляет фуража и контрибуции на 40000 талеров в месяц, тогда как ее депутаты на сейме делают всевозможное в нашу пользу; не удивительно, что эти люди начинают отступать от нас из отчаяния».

Благодаря политической речи короля сейм отправил министрам трех дворов ноту: «Союзные дворы передали польскому министерству изложение оснований, почему они считают себя вправе на известные польские земли. Польское министерство отвечало изложением своих прав на эти земли, прав, основанных на доказательствах очевидных; но так как республика не видит, чтоб на ее ответ было обращено достойное внимание, а между тем три двора не отстают от своих требований, то для Польши необходимо предложить этим самым трем дворам согласиться на принятие дружеского вмешательства держав нейтральных и поручителей в наших договорах для исследования прав и притязаний, дабы три соседних двора не были истцами и судьями в собственном деле». Штакельберг отвечал: «Три двора уже передали польскому министерству изложение своих прав, основанных на доказательствах неопровержимых и ставших еще бесспорнее от недостаточного возражения, сделанного с польской стороны. Подписавшийся не может дать другого ответа, кроме содержания разных деклараций трех соседних держав, а именно 22 января (2 февраля), в которой они определили довольно замечательную альтернативу для Польши: окончательное решение дела к 7 июня или увеличение требования с их стороны. Несмотря на такой язык, решительный и неизменный, подписавшийся видит с печалью и состраданием, что сейм проводит время в пустяках, придириках и спорах о словах; между тем страшный срок приближается и виновники этих замедлений не трепещут. Они должны отвечать на коварный аргумент, что державы не должны быть истцами и судьями в своем деле. Кто виноват, что они наконец принуждены были сами себе оказывать справедливость? Виноват этот дух властолюбия, который, заимствуя все голоса, принимая все формы, возбудил смуту, воспламенил междоусобную войну и произвел кровавую борьбу между Россиею и Портою, продолжавшуюся четыре года. К этим рассуждениям присоединяю последнее: если сейм в 8 дней не назначит уполномоченных для переговоров с министрами трех дворов, то никто не отвечает за следствие».

«Мы, – писал Штакельберг Панину, – выполнили такую трудную задачу, собрали сейм, составили конфедерацию, склонили всю нацию к договору с державами – и все препятствие и

замедление встречаем в особе короля!» 26 апреля министры трех дворов отправились к Станиславу-Августу упрашивать его не делать им препятствий, но Штакельберг понапрасну истощал свое красноречие; припев ко всем ответам королевским был один: «Я не могу противиться разделу, но я никогда не позволю сеймовой делегации решать вопроса о моих правах и правительственной форме». Штакельберг объявил, что переговоры о разделе Польши и переговоры о ее внутреннем устройстве нераздельны, что от них зависит спокойствие Европы и король своим сопротивлением может нанести бедствие Польше: назначенный срок пройдет и послы велят двинуться войскам. Тут король распространился о несправедливости и невозможности отнятия у него прав, о дурном правительственном устройстве, которое выйдет делом рук трех дворов, не имеющих понятия о польских законах, и делом нескольких поляков, ему, королю, враждебных. Министры дворов возражали ему, что об его правах еще ни чего не решено, что безурядица в Польше достаточно уяснила для дворов злоупотребления ее правительства и аргумент относительно врагов его неприложим, ибо он может назначить весь Сенат. Все было бесполезно: он вдруг встал со своего места и сказал, что в следующий понедельник будет говорить в последний раз в Сенате. Едва министры трех дворов успели оставить дворец, как по городу уже начали ходить красивые фразы короля. По словам Штакельберга, Станислав целый день расточал перед каждым слезы, трогательные положения и цветы риторики.

27 числа министры трех дворов распустили между поляками слух, что они заняты распоряжениями относительно движения войск, что и было совершенно справедливо; а к ним от двора приходили вести, что король готовится протестовать против всего и что даже намерен отказаться от престола. Эти вести заставляли послов решиться на какое-нибудь сильное средство, но какое именно? Бенуа и Лентулус показывали письма прусского короля, содержавшие приказания употреблять самые крайние средства при малейшем сопротивлении. Но Штакельберг представлял, что личное сопротивление короля не должно еще подвергать гибели целый народ, тем более что это сопротивление не касается раздела. Решено было распространить по городу слухи, что приказания насчет движения войск отданы, и послать русских, австрийских и прусских квартирмейстеров для назначения постоев в знатных домах. Это навело на поляков желанный страх, а появление прусского эскадрона в полумиле от города dokonчило впечатление.

1 мая в 8 часов утра Штакельберг собрал у себя всех сеймовых депутатов и в присутствии своих товарищей, австрийского и турецкого, постарался объяснить им, как безрассудно было бы с их стороны подвергаться военной экзекуции, тогда как относительно раздела и сам король согласен, упрямится только относительно внутренних вопросов, тогда как ни один из этих вопросов еще не решен и без совещания с ними решен не будет. В то же время по улицам путешествовали два эскадрона пруссаков и два эскадрона австрийцев, которых министры трех дворов ввели в город по условиям, вытребованным Штакельбергом, что они выйдут из Варшавы, как только цель будет достигнута, т.е. как скоро поляки будут напуганы. Вся Варшава была поражена ужасом при виде этих войск. Один король, ободренный своим маленьким советом, состоявшим из любовницы и двоих иностранцев, одного швейцарца и одного француза, вызывал на борьбу три державы, внушая депутатам, что последние хотели ввести аристократическое правление, составленное из 12 тиранов. Приехавши на сейм, король предложил на утверждение большинством голосов свой акт избрания уполномоченных для переговоров с послами; другой акт был составлен самими послами; и королевский отличался от последнего тем, что в нем уполномоченные по внутренним вопросам не могли постановлять окончательно и передавали дела на решение сейму, что вело к проволочке времени. Тут маршал конфедерации Понинский приблизился к трону и представил королю, что ему, маршалу, одному принадлежит право предлагать предметы на решение большинством голосов. Король и его партия не признали этого права. Встал епископ куявский Островский и в сильных выражениях представил королю, чему он подвергает нацию. Многие сенаторы говорили в том же смысле;

маленький князь Сулковский, палатин гнезненский, подземная фигура, по выражению Штакельберга, с мужественным красноречием, произведшим сильное впечатление на толпу, обратился к королю со словами, что его величество, сидя на троне, сам не рискует ничем, а подвергает опасности жизнь, честь и собственность сограждан. Сделано было предложение отправить депутацию к министрам трех дворов с просьбою дать еще два дня сроку. Король не согласился и на это предложение, тогда пошли на голоса, и большинство сказалось против короля. Министры трех дворов исполнили просьбу сейма, дали сроку до 3 мая, поручивши депутации передать сейму протест против королевского акта как написанного без соблюдения должного уважения к их дворам.

2 мая союзные министры употребили на обеспечение для себя большинства в палате депутатов и по общему согласию издержали на этот предмет 8000 червонных, В то же время они внушили родственникам короля, что первые следствия исполнения угроз падут, естественно, на них, если они не найдут средства отвратить его величество от упорства, гибельного и бесполезного вместе. Кроме того, министры сочинили декларацию, которая должна была отнять у сейма малейшее сомнение насчет возможности принятия королевского акта. Вельможи представили эту декларацию королю с просьбою уступить и своим упорством не подвергать их верной гибели. Станислав отвечал, что скажет свое мнение Сенату, но, прибыв в собрание, он стал по-прежнему речами и жестами ободрять свою партию, чтоб проводила его акт, причем сам отмечал карандашом голоса. Несмотря, однако, на все его усилия, большинство оказалось за акт, предложенный послами трех держав. Описывая Панину все свои хлопоты по этим делам, Штакельберг жаловался на своих товарищей, преимущественно австрийского барона Ревизского; это, по его словам, был человек вовсе не способный для такого дела, слабый, легко поддающийся и ленивый; секрет его в руках двоих итальянцев, которые употребляли во зло состояние, в каком бывал посланник после обеда. Бенуа – человек умный и действовал очень согласно с Штакельбергом, но он не имел никакого влияния на поляков.

Король со своей стороны описывал свои хлопоты и свое печальное положение маменьке Жоффрэн: «Клянусь честью, что я не дал ничего и ничего не обещал никому из тех, которые до конца держались моего мнения на сейме. 100000 иностранцев жестоко опустошают Польшу, особенно притесняют тех, которые не угождают им. Три министра роздали много денег на сейме. Иностранцы видели, что, есть люди честные к мужественные в стране, ибо почти половина сейма устояла против их золота и против их силы. Но, увы, к чему все это служит, когда нет ни денег, ни войска! На другой день после решения этого несчастного дела мне сказали: „Если бы вы получили большинство, то вы перестали бы быть королем и остальная Польша была бы поделена между нами“. Король прусский имеет это постоянно в виду. Теперь, несмотря на то что три двора взяли все, чего хотели, их войска продолжают жить в Польше, кормиться даром на ее счет. Русский министр обещает, что это скоро кончится, австрийский также ласкает надеждою, прусский не делает и этого. Его государь, кажется, занят придумыванием средств заставить своих союзников согласиться, чтоб он взял у нас еще больше земель. Император, кажется, считает себя обязанным делать нам столько же зла, как и прусский король, а русская императрица так занята турком, что не может помешать прусскому королю вредить нам. С 14 мая я совершенно завишу от милости трех дворов. Я умираю с голоду; вооружаются против всего, что мне наиболее дорого. Несмотря на то, надобно показывать наружное спокойствие, исполнять с некоторого рода достоинством худшую из ролей и думать, что может быть еще хуже, и стараться отвратить это худшее от государства, сберечь несколько зерен, которые могут прозябнуть при более благоприятной погоде».

8 мая назначены были уполномоченные для переговоров с министрами трех дворов; король назначил всех сенаторов, находившихся налицо; маршалы назначили 60 человек шляхты, что составило всего 100 человек. Когда все таким образом было улажено, открылось препятствие к начатию переговоров, и не со стороны поляков, которые, напротив, теперь торо-

пили делом, Ревницкий не получал от своего двора никаких инструкций, и по городу пошли самые чудовищные слухи о причинах такой медленности. Наконец бумаги пришли, и переговоры начались 22 мая; а на другой день Штакельберг опять жаловался на Ревницкого: «Это человек добрый, мой друг и который во всем следовал за мною, но он не только сам держит сторону короля, но, как кажется, склоняет туда же и двор свой. Я не подозреваю, чтоб он был подкуплен, ибо считаю его честным человеком, но мне кажется, что король обещал следовать идеям императрицы-королевы относительно религии и что Ревницкий вошел в этот план посредством нунция. Решено, что диссиденты никогда не получают участия в законодательстве». Штакельберг думал, что Ревницкий по собственному побуждению держал сторону короля и склонял к тому же свой двор, тогда как, наоборот, он действовал по инструкциям своего двора, которые предписывали ему стараться об усилении королевской власти, о возможном ограничении «liberum veto», чтоб Польша могла поддержать значение посредствующего государства между Россией, Пруссией и Австрией (*puissance intermédiaire*). Скоро Штакельберг должен был жаловаться на обоих своих товарищей. Ревницкий объявил, что границы прусской доли, представленные Бенуа, явно не согласны с конвенцией трех дворов, и потому он не знает, удержит ли его двор свой первый план; но на карте самого Ревницкого оказалась пограничная река Подгурже, которая была неизвестна, и с австрийской стороны предполагалось, что под нею надобно разуместь реку Сбруч. Ревницкий объявил, что не может продолжать переговоры как вследствие прусской карты, так и вследствие того, что еще не получил из Вены оригинала своих полномочий, а только копии да не приезжал еще инженер с верною картою. Штакельберг бросился к Бенуа, не может ли он упросить своего короля, чтоб позволил внести в договор общие выражения конвенции, объяснение же их произойдет на месте посредством комиссаров, ибо объяснение королевское останавливает все дело. Бенуа отвечал, что не только решение его короля непоколебимо и в присланной карте никакого изменения не будет, но если австрийцы примут Сбруч границу, то прусский король не удовольствуется своею настоящею долей. Дело затягивалось, а поляки, и согласные на все, выходили из терпения при виде совершенного разорения. Пруссаки заставляли давать себе съестные припасы и фураж на 30000 человек, тогда как их было всего 5000. Штакельберг писал в Берлин кн. Долгорукому, прося представить прусскому министерству, что русские войска платят за все и что между тремя дворами постановлено платить за припасы и фураж, как только поляки станут сообразоваться с желаниями союзников. Долгорукий отвечал, что король намерен сообразоваться с решением двух императорских дворов на этот счет и что Бенуа получит указы в этом смысле. Так как Ревницкий получил от своего двора приказание платить за все, то оставалось только всем троим согласиться поступать одинаково; но Бенуа постоянно уклонялся от этого решения, хотя, по словам Штакельберга, он первый был оскорблен варварством, с каким прусские офицеры поступали в Польше. Штакельберг высказывал убеждение, что если не будет постановлено, чтобы австрийцы и пруссаки платили за все потребляемое ими в Польше, то никакая сила на свете не может заставить их выйти из этой страны – такова расчетливость, Царствующая в Вене и Берлине.

По этому поводу Панин прислал Штакельбергу наставления: «Всякий раз, как прусский министр будет предлагать употребление силы и вам будет казаться, что есть еще другие средства, сдерживайте его стремления и принимайте сие мнение, только когда крайность заставит. Говорите с ним обо всем, что явится чрезмерным и слишком вопиющим в поведении прусских войск, но говорите как приятель с приятелем, как министр с министром, не давая вида, что ваш двор тут вмешивается; представьте ему, что кратковременная выгода кормить свое войско в чужой земле нейдет в сравнение с необходимостью вывести Европу из кризиса, в котором она находится. Но прямее вы можете вооружиться против равнодушия Ревницкого относительно внутренних дел. Если он действует вяло вследствие религиозного вопроса, то вы можете ему сказать, что при самом вступлении в переговоры с его двором последнему было сообщено все, чего желалось для диссидентов; что после не только не потребовалось ничего больше, но

вам еще велено, не требовать уничтожения уголовного закона против отступничества, также не требовать смешанного суда, который уже не может более существовать в прежней форме вследствие присоединения Могилева к русским владениям, и потому можно будет его заменить чемнибудь другим по соглашению обеих сторон. Так как религия католическая в Польше сохраняет блеск и превосходство, какими она не пользуется в Германии, то ничто не может затрагивать венский двор ни со стороны совести, ни со стороны достоинства».

Относительно продовольствия войск три министра согласились наконец, что все будут платить с 1 июля. Но до тех пор прусский и австрийский генералы настояли, чтоб доимка была непременно выплачена; и при взыскании доимки австрийский генерал превзошел прусского, так что поляки называли русских ангелами, пруссаков – копиями с человечества, австрийцев же – дьяволами.

Только в половине июля по внушениям из Петербурга берлинский и венский дворы согласились внести в свои договоры с Польшею насчет раздела собственные слова конвенции, не толкуя ни о каких реках и речках, которые, по выражению Штакельберга, прямо привели бы их к Варшаве, ибо когда в Вене указывали какую-нибудь пограничную реку, то в Берлине говорили, что австрийцы идут слишком далеко и мы также пойдем дальше.

Когда в августе месяце дело дошло до переговоров сеймовых уполномоченных, или так называемой делегации, с Штакельбергом, то делегация подала ему письменно заметку (remarque): «Ваше пр-ство получили в свое время королевский ответ на претензию императрицы относительно Польши. Петербургская конвенция между тремя державами, решающими нашу судьбу без нашего участия, быть может, не позволяет обратить на этот ответ должного внимания, и единственная причина такого поступка заключается в слабости короля и республики, которая принуждает нас подчиниться участи, нам приготовленной. Однако делегация не может себе представить, чтоб соседние и союзные государства не приняли во внимание право короля и республики, основанное на всех самых священных законах божественных и человеческих. Польша особенно надеялась на императрицу всероссийскую, которая подобно своим предшественникам особенно интересовалась благосостоянием Польши и уверяла, что ни сама не захватит, ни другим не позволит захватить что-либо из владений республики; и хотя она теперь поступает совершенно иначе, однако мы не отчаиваемся, что она примет наши представления, тем более что республика не имела намерения нарушать древней дружбы и союза с Россиею». Штакельберг отвечал: «Польша имела право основывать свои надежды на ее и. в. стве. Эти надежды были оправданы самым искренним и самым бескорыстным участием, которое императрица с самого восшествия своего на престол оказывала Польше. Но какое было следствие дружбы, продолжавшейся так долго и купленной такими большими пожертвованиями? С прискорбием обращаю я взоры делегации на страшную картину смут и опустошений ее отечества. Что случилось бы с Польшею, жертвою корыстолюбия, частного интереса и честолюбия, прикрытых фантомом свободы, которую предполагали в опасности от гарантии, принятой Россиею для сохранения этой самой свободы? Что случилось бы с Польшею, если бы Россия из чувства справедливой мести покинула ее в ее судорогах, которые непременно привели бы ее к гибели? Несмотря на кровопролитнейшую войну с турками, которую Польша возбудила, Россия не переставала предотвращать совершенное разложение республики, бороться в продолжение многих лет с неблагодарностью и соединенными усилиями тех, которые нарочно смутили отечество, чтоб властвовать в нем и притеснять его. Половина Польши вела войну с императрицею, и правительство одобряло это своим бездействием. Голос благонамеренных граждан не имел силы, равно как и представления русских послов. При страшном столкновении интересов держав не останавливаются на метафизике множества доказательств, служащих всегда для прикрашивания тайных расположений. Судят по делам, а не по словам. События, мною указанные, говорят громко, и мне нечего распространяться в возражениях против того, будто республика вовсе не хотела нарушать старинной дружбы и союза, существовавших

между нею и Россиею. Достаточно того, что императрица искренно желает их возобновления; но неоспоримые права на известные области, права, находящиеся в изложении моего двора, не потерпят никакого возражения. Я уже не говорю о правах на увеличение справедливых требований со стороны России, правах требовать вознаграждения за тяжкую войну, возбужденную против России Польшею».

Во время чтения этого ответа в делегации Островский, епископ куявский, объявил с большим жаром, что надобно остановить чтение и прежде всего спросить русского министра, кто эти люди, которых он обвиняет в гибели Польши. «Всякий верный гражданин должен оправдаться в глазах отечества, – говорил Островский. – Горе тем, которые были орудиями его бедствий. Наша обязанность употребить последние усилия, чтоб узнать их имена. Если я виноват, накажите меня первого за преступление, постыдное для того, кто имел его совершить, а еще более постыдное для нации, если она позабудет отмстить за него. Если я виноват, то пусть меня первого бросят в Вислу!» Энтузиазм Островского быстро сообщился всему собранию, и все начали заявлять свою любовь к отечеству, свою ревность к свободе и свою живую признательность к русскому двору за его попечения и покровительство, которые он во все времена оказывал Польше; слышались сильные выходки против тех, которые воспрепятствовали добрым намерениям России, слышалось громкое прославление Великой Екатерины. Князь Антон Сулковский, депутат ломжинский, поддерживаемый князем Мартыном Любомирским, депутатом сендомирским, и всею шляхтою, предложил представить именем всего собрания ноту барону Штакельбергу, в которой просить его назвать виновных. Собрание согласилось, нота была представлена, и Штакельберг отвечал: «Очевидная правота поступков императрицы, моей государыни, должна была, естественно, поразить большую часть членов знаменитой делегации. Я вполне сочувствую жару, с каким она желает открыть виновников толиких зол. Но я, так как и два других министра, имеем приказание не заниматься никаким делом до окончания главного, для которого созван сейм. Как скоро все три договора будут подписаны, я не буду противиться исследованию поведения тех, которые разорвали священные узы, соединявшие Россию с Польшею, и которые отвергали все предложения императрицы относительно умиротворения».

Волнения, возбужденные речью Островского, страшно напугали старика Чарторыйского, канцлера литовского. Он побледнел, когда епископ произнес слова: «Если я виноват, то пусть бросят меня в Вислу!» Чарторыйскому показалось, что ему прежде всех придется испытать это купанье. *Фамилия* должна была вытерпеть унижение, выслушивая молча упреки и угрозы. Слышались голоса, что если злоумышленникам на жизнь королевскую будут рубить головы и руки, то было бы несправедливо щадить убийц отечества. Штакельберг хвалился Панину, что его ответ на ноту делегации, не останавливая переговоров, напугал врагов России. На другой день он имел свидание с королем, которого нашел в большом замешательстве. Штакельберг сказал ему, что он может воспользоваться обстоятельствами начать быть королем, перестав быть племянником. Король, однако, кончил разговор просьбою спасти его родственников. Штакельберг отвечал, что, быть может, это не в его уже власти, но постарается по крайней мере не компрометировать его, короля, если он хочет обеспечить дело от всякой дальнейшей интриги.

Но оставалось еще трудное дело, старое диссидентское дело. Диссиденты передали Штакельбергу просьбу к императрице: «Так как настоящий сейм должен решить и утвердить навсегда судьбу диссидентов в Польше, то мы осмеливаемся умолять о могущественном покровительстве в. и. в-ства. Наши противники, руководствуемые фанатизмом и политикою, стараются теперь более, чем когда-либо, нанести нам смертельный удар и лишит не католическое римское дворянство, привязанное к интересам в. и. в-ства, всех прав и преимуществ, связанных с происхождением, которые одни характеризуют дворян и служат единственными средствами их сохранения в республике. Только уверенность в высочайшем покровительстве в. и. в-ства

и торжественное ручательство, которое вы удостоили дать договору 1768 года, внушили нам твердость и способность претерпеть все бедствия и гонения, обрушившиеся на нас во время смут: мы жертвовали всем нашим имуществом, а многие из нас и жизнью, но не сделали ни малейшего шага, могшего навести подозрение в неблагодарности к нашей августейшей благодетельнице. После этого нам не позволительно предполагать, чтобы государыня, которой великодушие, благотворительность и мудрость составляют предмет удивления для всей Европы, захотела покинуть ту часть польского дворянства, которая боролась за правду своего дела не иначе как под высоким покровительством в. и. в-ства. Но теперь это дворянство, ненавидимое за то только, что прибегло под сень трона в. и. в-ства, хотят лишиться навсегда права участвовать в законодательстве, права, которое одно может обеспечить нам свободное исповедание нашей религии и все другие преимущества, отличающие благородного гражданина». Пересылая эту просьбу, Штакельберг писал Панину: «У меня нет ни малейшего луча надежды успеть в том, чтоб диссиденты получили право быть сеймовыми депутатами, и я осмеливаюсь сказать наперед, что этот пункт невозможен. Кроме фанатизма нации, участие в этом деле венского двора, которого взгляд на дело известен, не обещает ничего утешительного для диссидентов. Папский нунций, хотя друг человечества и мира, не станет молчать: его место, характер, предмет его посольства принудят его говорить: и достаточно ему произнести слово, чтоб снова вспламенить всю нацию». Тогда же делегация подала Штакельбергу жалобу, что агенты переяславского епископа преследуют униатов, пользуясь пребыванием русских войск в польских областях, отнимают у них церкви и проч.

Панин, у которого Штакельберг просил наставлений, писал ему: «По конституции 1768 года Диссидентам должно было возвратить отнятые у них церкви, и если некоторые действительно возвращены, то их немного в сравнении с теми, которые еще находятся в руках католиков и униатов. В настоящих обстоятельствах всего лучше для нас и для делегации затушить это дело, которое может только снова поднять фанатизм в народе, уже причинивший столько смут. Мы не можем согласиться на уничтожение того, что было сделано во исполнение договора, с нами заключенного; не можем согласиться, чтоб люди, которым мы покровительствовали с таким усилием, были отданы в жертву их прежним гонителям. Фельдмаршал Румянцев пишет, что все жалобы на греков (т.е. на православных русских) преувеличены, и если мы с нашей стороны будем верить так же легко всем жалобам наших, то представим такие же важные и многочисленные известия. Что сделано относительно возвращения церквей православным, должно остаться, а для сохранения порядка и спокойствия должна быть назначена смешанная комиссия. Что касается вообще диссидентов, это очень печально, что вы теряете надежду удержать за ними участие в сеймах, тем более что от этого пункта вам нельзя отступить; и повеления императрицы, которые я вам повторяю, точны: потребуйте помощи от своих товарищей, употребите все усилия в борьбе с национальным сопротивлением и не позволяйте себе останавливаться ни пред каким затруднением. Вы можете сделать одну уступку: согласиться на ограничение числа диссидентов, избираемых на сейм, и на умолчание о необходимости их избрания; от этого произойдет, что право их не будет действительным или будет малодейственным, но по крайней мере оно будет сохранено. Если и этого нельзя будет достигнуть, объявите, что вы вовсе не хотите слышать о диссидентском деле и что вам запрещено принимать участие в чем бы то ни было его касающемся. Исключение диссидентов из законодательства, провозглашенное на сейме под ауспичиями трех дворов, будет для них ударом более гибельным, чем все прежние конституции, отнимавшие у них право за правом; и ее и. в-ство, отказавшаяся из любви к миру от требования для них мест в Сенате и министерстве, не изменит правосудию и своей славе, подписывая их гибель и покидая их совершенно».

Панин требовал от Штакельберга, чтоб он обратился к своим товарищам за помощью в диссидентском деле; и Штакельберг ему писал, что как скоро переговоры об уступке земель были окончены и надобно было приступить к решению внутренних вопросов, то согласие

между министрами трех союзных дворов рушилось. Бенуа продолжал действовать согласно со Штакельбергом, но барон Ревницкий вдруг переменял язык, позабыл систему, которая была принята дворами для успокоения Польши; он прямо объявил, что его двор удивляется уменьшению королевской власти. Легко понять, как это ободрило короля и его партию. Король отказывался от права назначать прямо на сенаторские и министерские места, соглашался, чтоб Постоянный совет предлагал ему троих кандидатов, из которых он будет избирать одного, но за это он требовал права назначать всех офицеров главного штаба и гвардии и начальства над гвардейскими полками, т.е. требовал права быть хозяином всего войска. Штакельберг удивлялся, как Станислав-Август не понимал, до какой степени он усиливал побуждения уменьшать его власть, открывая в своих требованиях ясно виды на господство и особенно обнаруживая план подражать при первом удобном случае королю шведскому. Члены нашей партии, по выражению Штакельберга, просили его учредить для короля новую гвардию, а не оставлять в его распоряжении старую, посредством которой он может когда-нибудь произвести революцию. Штакельбергу удалось уговорить своих товарищей предложить королю следующие условия: если король откажется от назначения военных должностей главного штаба, подчинив их порядку старшинства, и откажется от командования гвардией республики, то для него будет учреждена личная гвардия, которою он будет располагать совершенно и которая будет на содержании республики. Если король откажется от назначения на должности судебные и доходные, то ему будет предоставлено избрание из трех кандидатов, представляемых Постоянным советом, как на должности епископов и сенаторов, так и на должности государственных министров и министров при дворах иностранных. Постоянный совет избирает кандидатов тайною баллотировкою, а сами члены Постоянного совета избираются таким же образом на сейме; король должен отказаться от раздачи староств. После переговоров с королем эти условия были изложены так: у короля остается право назначать на все должности церковные и гражданские, кроме епископов, воевод, кастелянов, министров и военных и финансовых комиссаров: все эти лица избираются им из трех кандидатов, прежде избранных Постоянным советом посредством тайной баллотировки. В войске король назначает офицеров в польских дружинах и в четырех пехотных дружинах, носящих его имя. В остальном войске офицеры назначаются по старшинству. Король отказывается от права раздавать королевские имения, доходы с которых обращаются на государственные нужды. Сейм назначит членов Постоянного совета тайною баллотировкой, но теперь на первый раз король согласится с министрами трех союзных дворов относительно назначения сенаторов, министров и шляхты, которые должны войти в Постоянный совет; четыре гвардейских полка будут под властью государства, как они были при Августе III, с тем только различием, что тогда гетманы сосредоточивали в своих руках всю власть, а теперь они разделяют ее с военною комиссиею и гетманы вместе с комиссиею будут подчинены Постоянному совету. Королю будет выдаваться ежегодная сумма на содержание двухтысячного отряда войска, которым он располагает, как ему угодно.

Эти условия были выработаны королем и Штакельбергом вдвоем; Станислав-Август просил, чтоб министры австрийский и прусский тут не участвовали, на что они охотно согласились, чтоб избавиться от такого неприятного занятия. По окончании дела король прислал Штакельбергу письмо: «Вы были орудием жестокого жертвоприношения, где я был невинно заклан. Вы видели всю горечь моего страдания. Без сомнения, вы мне сострадали, вы должны желать доставить мне лекарство и облегчение. Но этого не будет, если императрица не возвратит мне своей дружбы. Умоляю, содействуйте этому. Я так и так давно несчастен, что наконец она должна быть тронута. Этот последний удар пронзил мне сердце, потому что нарушает мое достоинство и потому что направлен прямо ею, ею, против которой сердце мое ни в чем не виновно. Но наконец, если бы даже она предполагала эту виновность, то я искупил это пагубное предположение, думаю, достаточно дорого». Следствием была записка Екатерины Панину: «Что касается короля и его брата, прошу вас придумать, что можно для них сделать. Прежде

всего я сама охотно отдам и уговорю два другие двора отдать королю, что ему следовало до раздела; мне кажется, что граф Чернышев имел приказание составить этому счет; я потороплю его».

Варшавские события, разумеется, должны были вести к деятельным сношениям между участвующими в разделе державами; дела на Дунае продолжали находиться в тесной связи с польскими; Россия продолжала требовать у своих союзников помощи для скорейшего заключения мира с Портою.

9 февраля (н. с.) Фридрих II писал Сольмсу: «Известия о мирных переговорах в Бухаресте сильно меня беспокоят, боюсь, что конгресс уже разорвался. Упорство оттоманского уполномоченного должно приписывать французским интригам. Между тем я исполню сколько можно лучше поручение графа Панина, и, хотя я не нахожусь в непосредственной переписке с императором, Панин может быть уверен, что я передам его и. в-ству увещание, чтоб он дал точные приказания Тугуту действовать с большим жаром при Порте в пользу мира. Боюсь одного, и не без основания, что это средство придет слишком поздно, после разрыва конгресса. Если это случится, то вспомните проект венского двора, который я вам вверил, как прошлым годом я был в Силезии: этот двор сильно желает приобрести турецкие земли со стороны Венгрии и с этой целью вступить в союз с Россией против турок. Если переговоры прервутся, знайте наверное, что венский двор употребит все усилия для проведения этого проекта, который лежит на сердце у императора. Между тем на наших переговорах в Польше сильно отзовется разрыв конгресса и мы встретим гораздо больше трудностей, чем когда бы мир был близок к заключению; я не знаю другого средства преодолеть эти затруднения, как принудивши поляков утвердить все наши требования». Это писалось для сообщения петербургскому двору; теперь послушаем, что Фридрих говорил фон-Свитену для сообщения в Вену. Разговор происходил 20 февраля (н. с.). «Известия из Константинополя, – начал король, – не подают надежды на мир. Турки никак не хотят уступить двух крепостей в Крыму (Керчи и Еникале); турки объявили, что уступка этих крепостей грозит опасностью Константинополю; они предпочитают продолжать войну, хотя бы это повело к разрушению столицы и всей империи, ибо все равно беда неизбежная через тридцать лет. С другой стороны, русские объявили, что без уступки двух крепостей в Крыму не хотят слышать о Крыме; и я жду скорого известия о разрыве Бухарестского конгресса. Турки сами. этого ждут и приготавливаются, собирают войска сколько можно более. Я очень недоволен всем этим, потому что не вижу средств помочь делу». *Фон-Свитен* : «Но нельзя ли надеяться, что петербургский двор, который должен желать прекращения войны, сбавит свои требования, видя, что Порта решилась всем рисковать, а не подчиниться им». *Король* : «Нет, эти люди упоены своим счастьем; верно, что так же трудно управлять счастьем, как и несчастьем. В упоении успехами они постановили самые тяжкие условия для Порты; теперь они и видят, что перешли меру, но не хотят отступить назад, считая это для себя унижительным, и они будут принуждены продолжать войну, потому что слишком много запросили; будут еще по крайней мере две кампании, которые, по-моему, не представляют для них ничего выгодного: они овладели всем на этом берегу Дуная, им не остается ничего больше здесь делать. Было бы очень опасно перенести оружие за эту реку, ибо было бы очень трудно поддерживать необходимые сообщения: на это надобно было бы употребить большую. часть армии, и остальная, которая переправилась бы за Дунай, не могла бы по своей малочисленности действовать с успехом, ибо набеги, если бы даже и простирались до Адрианополя и дальше, не решат ничего. Впрочем, несмотря на доброе согласие, существующее теперь между вашим и петербургским двором, я не знаю, очень ли вам понравится переход русских за Дунай? По крайней мере нужно было бы им прежде условиться с вами. Мне сообщили из Петербурга другой проект, и я очень советовал не приводить его в исполнение: это опустошить Молдавию и Валахию, все пожечь, забравши всех жителей, сделать из двух стран совершенную пустыню и отодвинуть войско на польские границы за Днестр, оставив 20000 или 30000 в Татарии. Этот

проект совершенно противен человеколюбию, слишком отвратителен и в то же время может сделаться опасным, ибо, несмотря на опустошение, турки могут приблизиться к Польше, где поднимут сильное волнение, а нам нужно их держать подальше для успеха наших намерений. Я вижу одно средство помочь делу: это если Россия потребует вашей помощи против турок и согласится, чтобы вы взяли Боснию и Сербию. В таком случае война не будет продолжительна и вы не останетесь без барыша».

Фон-Свитен обещал донести об этом предложении своему двору и писал Кауницу, что, без всякого сомнения, тут скрываются гораздо обширнейшие замыслы прусского короля, именно дальнейшее расширение своих владений. Фон-Свитен предлагал свою догадку, что Фридрих хочет вмешаться в войну России со Швецией и приобрести шведскую Померанию, а чтоб Австрия не мешала этому, занять ее в Турции, где она может также сделать приобретения. Но австрийский посланник посмотрел не в ту сторону: Фридриху прежде всего желалось получить Данциг и Торн, и, чтоб Россия и Австрия согласились на это, он указывал им на приобретения в Турции, получить которые они могли, только предварительно отдавши ему всю Вислу. Прежде он не желал, чтоб Австрия приобрела земли от Турции, ибо прежде всего хотел совокупного действия трех держав в Польше, но теперь это совокупное действие завершилось по его желанию и он думал об одном: как бы добыть Данциг и Торн, без чего польское дело являлось для него неоконченным.

Чтобы Австрия не боялась Франции, когда станет увеличиваться на счет Турции, Фридрих говорил фон-Свитену: «Французы в бешенстве, но у них нет силы, и потому они переменили львиную кожу на лисью и пытаются всеми средствами нас разъединить. Знаете ли, что они предложили в Петербурге доставить России мир с турками, если там согласятся дать им волю работать в Константинополе; но их хитрости не удадутся, я за это отвечаю. Впрочем, их нечего бояться, они не в состоянии вести войну; правда, что они могут надеяться на испанские субсидии, но этот источник недостаточен: война, которая ведется на чужой кошелек, на милостыню, не может быть ни энергична, ни продолжительна; притом я знаю наверное, что король ненавидит самое имя войны; и министр, который ее ему предложит, несомненно, потеряет свое место; а вы знаете, что во Франции, как в некоторых других странах, министры любят больше свои места, чем государство».

Из Вены отвечали отказом вести дело в Турции вместе с Россией, искать себе с оружием в руках приобретений, тогда как не было известно, какие приобретения прусский король захочет приобрести даром; в Вене Фридрих II имел отличных учеников, которые, следуя по стопам учителя, также намерены были приобрести от Турции кое-что даром. Получивши на свое предложение отрицательный ответ, Фридрих затронул другую сторону. «Однако, – сказал он фон-Свитену, – надобно ожидать со дня на день разрыва бухарестских конференций, и если война продолжится, то надобно же принять какое-нибудь решение, что тогда делать. Россия объявляет, что если мир не состоится, то она не будет более держаться предложенных условий, именно возвращения Молдавии и Валахии». – «Вы знаете, государь, – отвечал фон-Свитен, – что мы бы принуждены были сделать, если бы Россия пожелала сохранить Молдавию и Валахию, и вы из этого можете заключить, что мы принуждены будем сделать, если те же обстоятельства повторятся».

Фридрих понял дело так, что Австрия не хочет объявить себя против Турции из опасения Франции. «Чего вы боитесь французов?» – спросил он фон-Свитена. «Мы боимся, – отвечал тот, – верной потери наших областей на Рейне, в Италии, Нидерландах, которых мы не могли бы защищать». – «Но разве я не союзник ваш в этой всеобщей войне?» – возразил король. «Вашему в-ству достаточно будет промышлять о самих себе», – отвечал фон-Свитен. «Но почему вы верите в возможность этого всеобщего союза против нас?» – спросил опять король. «Мы не должны предполагать эту возможность, – отвечал фон-Свитен, – вследствие общего волнения и зависти, произведенных в целой Европе нашим раздельным договором и

нашим союзом. Страх родил подозрения и преувеличенные опасения. Если увидят, что наш союз ограничивается разделом Польши, которому уже нельзя воспрепятствовать, волнение прекратится, подозрения и опасения исчезнут и можно надеяться сохранения всеобщего спокойствия; но если увидят в нашем союзе с русскими против турок осуществление именно тех опасных последствий, каких боялись, то нет сомнения, что вся Европа соединится против трех дворов, против обширных замыслов, которые по справедливости у них заподозрит». – «Эта опасность исчезнет, – отвечал король, – если мы еще теснее соединимся; и вот почему я бы так желал, чтобы наш тройной союз был заключен: тогда мы будем господами мира и войны; и это будет верное средство осуществить проект аббата С. Пьера» (о вечном мире).

Что Фридриху вовсе не хотелось никакой войны, а тем менее шведской, видно из его письма к Сольмсу от 24 апреля: «Если я вам говорил о подозрениях насчет интриг Дюрана и непозволительных связей, какие он мог иметь при русском дворе, то я делал это на основании моих писем из Парижа, что там хвастаются существенными услугами, оказанными Дюраном своему двору; слухи о неудовольствиях между императрицею и великим князем, о решенном удалении графа Панина и будущей революции в России вообще распространены в Версале. Что касается ваших известий, что Дюран дал знать своему двору о кронштадтских укреплениях и дурном состоянии русского флота, то Франция может воспользоваться такими известиями для воспламенения огня юности моего племянника, короля шведского. Она может воспользоваться этими анекдотами и убедить Густава III, что настоящие обстоятельства самые благоприятные для разрыва с Россиею. Так как я был бы очень огорчен, если б мои родственники ввели в новые затруднения мою союзницу, то я думал о средствах, как бы предохранить ее от этих неприятностей, и вот что придумал. Предположив, что разрыв со Швециею неизбежен и Швеция действительно нападет на Россию, последняя может рассчитывать, что я с точностью выполню мои союзнические обязательства. Но быть может, есть средство предотвратить бурю? Единственное разумное средство, которое Франция может употребить для принуждения шведского короля к разрыву, – это внушение, что Россия непременно замышляет какой-нибудь удар для восстановления прежней формы правления и гораздо выгоднее для него ее предупредить и напасть на нее во время турецкой войны, а не дожидаться мира, когда Россия, имея свободные руки, обратит все свои силы против него. Этот аргумент кажется мне очень естественным и способным произвести впечатление на шведского короля. Чтобы заставить Францию замолчать и предупредить следствия ее верных внушений, я не нахожу другого средства, как объясниться дружески со шведским королем или непосредственно, или чрез меня».

Из Петербурга королю давали знать, что в случае разрыва Бухарестского конгресса русские войска перейдут Дунай. По этому поводу Фридрих писал Сольмсу 1 мая: «Не скрою от вас, что переход через Дунай с целой армией фельдмаршала Румянцева кажется мне очень опасным и трудным. Русская армия будет подвержена тут тысяче случайностей, не говоря о трудностях при доставлении съестных припасов и оружия. Обратив внимание на ширину этой реки, понимаешь затруднения, какие встретит армия в случае, если испытает малейшую неудачу и будет принуждена отступать по той же реке. Осада Очакова, кажется мне, была бы естественна и не так опасна. Кампания нынешнего года потребует от фельдмаршала Румянцева гораздо более благоразумия и осторожности, чем предыдущие». Получив известие о разрыве Бухарестского конгресса, Фридрих писал: «Очень печально, что бухарестские переговоры опять не удались. Я имею основания предполагать, что если бы венский двор употребил более твердости в своих внушениях Порте, то переговоры, конечно, имели бы более успеха. Сколько я могу заключить из всех моих известий, венский двор, сохраняя еще слишком много прежнего уважения к Франции, не имел духа сделать более сильные представления в Константинополе». Но Фридрих противоречил самому себе. Что-нибудь одно: или Австрия не хотела настаивать на мире по отношениям к Франции, или по другим расчетам, желая воспользоваться предложением войны для своих целей. Так, Фридрих в депеше 25 мая опять возвращается к этому объ-

яснению: «Кауниц желал выдвинуть всевозможные затруднения, чтоб заставить Россию нуждаться в помощи венского двора и продать эту помощь самую дорогою ценою». В августе гр. Иван Чернышев имел в Потсдаме длинный разговор с Фридрихом II, который рассказывал ему о своих отношениях к разным державам. Об англичанах он никак не мог говорить равнодушно, он упрекал их в том, что тайком от него заключили последний мир с Франциею, не выговорив занятых французами его земель, и заставили его отбирать эти земли оружием. Но всего обиднее было для него то, что они предлагали Кауницу союз и помощь для отнятия у Пруссии Силезии и старались охладить к нему императора Петра III. «Теперь, – говорил король, – мне нет никакой нужды входить с ними в союз; я доволен союзом с Россиею и ни в ком больше нужды не имею. Россия в другом положении и может иметь свои причины быть с Англиею в соглашении или союзе; тогда по России и я буду с нею в некоторой связи. При втором свидании моем с императором был там и Кауниц; и тот об англичанах имеет одинокое мнение со мною: считает их не очень верными союзниками, чему в пример приводил поступок их с австрийцами во время Ахенского мира». Потом Фридрих начал говорить о дружественных отношениях своих к императрице Екатерине и России и как будто бы стыдился своей попытки еще порасширить свои границы на счет Польши, говорил сквозь зубы: «Вообще принято: когда реку отдают, то разумеется верховье; императрица мне этого дать не рассудила; и я согласился». Потом продолжал с улыбкою: «Австрийцы объявили, что намерены всегда держаться в точности постановленного в конвенции о разделе; но после оказалось, будто нельзя описать границ с такою точностью, как на месте, почему и хотят этим начать. Я знаю их жадность: им хочется захватить побольше, почему и посылаю человека поприсмотреть за ними; и в случае если они поприхватят, то естественно, что и я буду определять свои границы по местным удобствам». Чернышев заметил на это: «Если ее и. в-ство рассуждает, что трем державам непременно должно держаться постановленного в конвенции, то это не для того, чтоб не дать Пруссии чего-нибудь больше, а для того, чтоб показать свету твердость намерений трех держав; потому и нельзя расширять своих границ под предлогом, что другой захватил лишнее, иначе можно поставить польские дела в такое положение, что их и окончить будет нельзя». Фридриху не хотелось продолжать этого разговора. Сказавши, что в Польше положили соглашаться на уступку требуемого и что окончание дела гораздо более подвергнуто опасности от внутренних вопросов, он перешел к войне и миру с турками. «Мир крайне надобен, – говорил он, – кампанию надобно считать оконченною, и не очень удачно; и если в настоящем году мир не может быть заключен по желанию, то, не жалея расходов, надобно употребить всевозможные меры, чтоб принудить турок к миру в будущую кампанию. Всех обстоятельств, которые могут последовать в Европе, предвидеть нельзя. Что же касается шведов, то я уверен, что они, особенно нынешний год, ничего не предпримут, да хотя бы и предприняли, то 25000 войска, находящегося в Финляндии и около Петербурга, конечно, довольно, особенно если в то же время шведы должны будут иметь дело и с датским двором. Я не раз думал о том, что шведы вам могут сделать. У них больше 45000 войска нет; из этого числа надобно кое-что оставить дома и в гарнизонах; положим, что на это пойдет 5000; десять надобно будет отделить против Норвегии; затем и останется против вас только 20000. Впрочем, не должно сомневаться, что в случае совершенной неудачи вашей против турок Франция будет стараться поднять шведов против вас. Больше всех возбуждает в короле к вам ненависть французская креатура Шефер, который с младенчества вселил в короля мысль, что он может получить известность в свете только беспредельной привязанностью к французской системе и тесным союзом с Франциею. Я их обоих у себя видел. Племянник мой, король, очень неглуп, но все дурное французское так перенял, что ветрен, как молодой француз. Желательно, чтоб вы помирились с турками без чужой помощи; но в случае невозможности надобно будет прибегнуть к австрийцам. Они очень желают вмешаться в эту войну, но хотят, чтоб вы их о том много и много просили. Аппетит у них несказанный – возвратить Белград и все потерянное в прошедшую войну. Я этот

двор хорошо знаю и вам вкратце опишу: император – человек молодой, нетерпеливо желает себя прославить, но человек честный и твердый; мать – такая комедиантка, какой на свете нет другой; Кауниц – человек не только двоедушный, троедушный, но и четверодушный. Я часто думал, как бы вы могли нанести туркам самый чувствительный удар, но, по несчастию, не знаю местности и потому безошибочно ничего сказать не могу. Однако мне кажется, что вам бы следовало, оставя знатный корпус войска вверху Дуная, у Журжева или выше, с остальной армией идти по правому берегу реки прямо к Варне; провиант можно было бы доставлять по Дунаю и морем. Такое движение заставило бы неприятеля или сойти с гор, выйти из щелей и дать сражение, или бежать для защиты Адрианополя. Жаль очень, что Силистрия не взята: тогда бы вы твердой ногой стояли и за Дунаем». Чернышев заметил, что Силистрию можно взять только приступом, следовательно, с большим кровопролитием. «Мало артиллерии вы употребляете, – сказал король, – надобно бы пушек сто да мортир 30 или 40, ибо турецкие укрепления состоят в крепких и высоких стенах. Хотя бы Очаков в нынешнюю кампанию можно было взять!» Чернышев заметил, что трудно перевести к нему артиллерию. 5 октября Фридрих писал об опасностях вторичного перехода через Дунай: «Если бы турки первые перешли Дунай и граф Румянцев разбил их, тогда он мог бы их преследовать за Дунай; преследование разбитой, потерявшей потому дух армии всегда бывает успешно. Но если, наоборот, турки останутся в своем лагере, то фельдмаршал ударится в большую игру: перешедши Дунай для нападения на них, он рискнет всем для всего. Я не стану утверждать, чтоб такой смелый удар никак не мог удался. Военное счастье, которое до сих пор благоприятствовало русским, может неблагоприятствовать им и в этом случае, но жребий войны изменчив и его прошлые ласки не ручаются за будущее; неудачи так же возможны, как и успехи; и не скрою от вас, что на месте России я бы не стал так полагаться на счастье».

Сольмс передал Панину депешу прусского посланника Гольца из Парижа (от 4 ноября); по письмам из Петербурга заключают, говорилось в депеше, что Панин не пользуется большой милостью своей государыни, он должен разделять ее с князем Орловым и графом Чернышевым, которые очень дружны между собой. В письмах прибавляют, что эти вельможи не кажутся такими врагами Франции, как гр. Панин, что министры французский и испанский часто видятся с ними и подают своим дворам надежды относительно доброго расположения Орлова и Чернышева ко Франции. Герцог Эгильон, говоря с Гольцем о наградах, полученных Паниным, спрашивал его несколько раз: «Думаете ли вы, что этот министр действительно удержит заведование иностранными делами и дарованные ему милости не предвещают ли скорое Удаление от дел?» Гольца уведомили, что Дюрану дано приказание осведомиться при петербургском дворе, не согласится ли последний заключить мир с Портою при посредстве Франции, которая в таком случае может добиться у турок уступки двух крымских гаваней на Черном море.

В Вену о французских внушениях давали знать непосредственно из Петербурга, думая, что этим побудят Австрию содействовать заключению мира России с Портою! 12 февраля австрийскому послу здесь князю Лобковичу была вручена бумага под заглавием: «Содержание разговора графа Панина с князем Лобковичем». В этой бумаге говорилось: «Венскому двору известно старание Франции запутать все политические дела Европы с единственной целью воспрепятствовать соглашению трех дворов относительно Польши или, наконец, воспрепятствовать исполнению этого соглашения. Здесь Дюран не перестает выставлять выгоды, какие получила бы Россия, войдя в тесную связь с его двором: чрез это она вывела бы свои дела из нерешительного положения; Дюран прямо и открыто предлагает союз между Россией, Францией и Швецией; это предложение, очевидно, клонится к тому, чтоб охладить Россию, ослабить ее деятельность при исполнении означенного соглашения, и хотя еще ей не предлагают уклониться от соглашения, однако указывают уже на большие выгоды, которые получит она от новых связей. Нет двора, где бы Франция не интриговала против раздела Польши; даже британское министерство обольщено до такой степени, что поддерживает в Константинополе

все французские интриги против мира ввиду торговли на Черном море. Известно, что русский двор отказался от Молдавии и Валахии из уважения к венскому двору, и никакие другие соображения не могли бы побудить его к принесению этой жертвы. В таком положении дел было бы действием, согласным со справедливостью и миролюбием венского двора, если б он предписал своему министру в Константинополе открыть Порте глаза насчет двойной интриги Франции, которая работает в пользу Швеции в одно время и в Петербурге, и в Константинополе, и вместе с тем объявить Порте, что если она позволит себе увлечься чуждыми видами к продолжению военных бедствий, то Австрия не только предоставит ее военному счастью, но для поддержания равновесия в случае шведской диверсии примет сторону России, как прежде принимала сторону Порты». Кауниц, уверяя кн. Голицына в искренности и усердии, с какими австрийский посланник по предписанию своего двора поддерживает русские интересы в Константинополе, прибавил, что Австрия ожидает и от России для себя услуги. «Мы были бы очень благодарны петербургскому двору, – продолжал он, – если бы Россия не подала повода к разрыву со Швецией, если бы ограничилась уничтожением неприятных ей вещей в новой правительственной форме путем мирных переговоров». Кауниц просил Голицына писать об этом почаще графу Панину. Голицын отвечал, что Россия, конечно, не начнет легкомысленно новой войны, но дело в том, что Франция своими интригами воспрепятствует королю шведскому войти в какие бы то ни было соглашения и может ли русский двор видеть хладнокровно существование в Швеции правительственной формы, противной его гарантии и его интересам? Кауниц при этих словах обнаружил некоторое волнение и сказал: «Чего России бояться, если шведский король будет одарен талантом и мужеством? Ведь он чрез это все же никогда не будет в состоянии меряться с вами: Россия бесконечно превосходит его своими средствами, притом она располагает Данией, имеет союзником короля прусского и находится в доброй дружбе с австрийским домом». Голицын заметил на это, что государства не руководятся в своем поведении настоящим положением дел, но имеют в виду будущие неудобства и предусматривают опасности издалека; ясно, что в Швеции при перемене правления аристократического на монархическое неограниченное произойдет сосредоточение власти, что даст этому государству большие средства. Это будет тем опаснее для России, что неограниченная власть шведского короля будет орудием в руках Франции для постоянной помехи русским делам. Кауниц не отвечал на это прямо, а только распространился о том, как было бы желательно избежать войны, которая может распространиться далеко. Кауниц уверял в искренности и усердии, с какими австрийский посланник поддерживает в Константинополе интересы России. Действительно, он готов был предписать Тугуту склонять Порту к примирению, но император Иосиф был другого мнения: он представлял, что Австрия не окажет этим Порте никакой услуги; если Австрия ничего не сделает против мира, то Россия не будет иметь никакого права жаловаться; Франции будет также приятнее, если Австрия не будет усердно хлопотать о мире, ибо Франция боится, что Россия, освободившись от турецкой войны, обратится против Швеции. Наконец, чем долее Россия будет находиться в войне, чем продолжительнее будет нерешительное положение и прусский король будет платить ежегодные субсидии, тем Россия и Пруссия будут уступчивее в польских делах. Кауниц был принужден в депешах Тугуту, которые тот мог показывать, настаивать на заключении мира, а в тайных давать знать, что эти увещания к миру в Вене не почитаются серьезными; внушалось, что такие настаивания на мир с австрийской стороны могут быть только выгодны для Порты, ибо если она отвергнет русские требования, то этим произведено будет сильнейшее впечатление в Петербурге: здесь увидят, что и убедительнейшие внушения Австрии ни к чему не повели.

Когда Голицын объявил Кауницу о разрыве Бухарестского конгресса, то австрийский канцлер сказал спокойно: «Из этого достойного сожаления события можно видеть, какую нужду и важность находят для себя турки в требуемых русским двором двух крымских крепостях, Керчи и Еникале». – «По моему мнению, – возразил Голицын, – такое упорство турок

можно приписать только неусыпным проискам недоброхотов России. Турки своим упорством не приобретут себе никакой пользы; и я очень удивляюсь, почему Порта, несмотря на данные ей г. Тугутом новые представления, разорвала конгресс; из этого видно, как мало она уважает представления здешнего двора». Кауниц помолчал и потом завел речь о другом предмете. Получивши от Панина подробные известия о разрыве конгресса, Голицын опять поехал к Кауницу сообщить их ему. Кауниц, выслушав изложение дела, принял серьезный вид и не отвечал ни да ни нет. Тогда Голицын начал говорить: «Вспомните, князь, по крайней мере, что мое изложение дела представляет искреннее объяснение от одного дружеского двора другому, что тут нет ничего искусственного и скрытного, и мы были бы очень рады, если бы наше поведение в переговорах с Портою показалось и вашему двору столь же справедливым и последовательным, каково оно на самом деле». – «В добрый час, – отвечал Кауниц, – но чтоб судить о вашем деле беспристрастно, надобно, чтоб я поставил себя также и на место турок; по-вашему, вы требуете мало, а по их – слишком много».

В октябре по поводу перехода русского войска через Дунай император Иосиф II спросил Голицына: «Не думаете ли вы, что переход через Дунай несколько рискован?» – «Государь, – отвечал Голицын, – нет сомнения, что попытка смела и опасна, но если неприятель не шел к нам, то надобно идти к нему; впрочем, если наше войско не могло вполне достигнуть цели похода, то по крайней мере оно удержало решительное превосходство над неприятелем». – «Правда, – сказал Иосиф, – войско держало себя хорошо, и я удивляюсь постоянной славе вашего оружия, если бы только поскорее последовал мир». – «Государь, – отвечал Голицын, – это не от нас зависит». Иосиф: «Правда, турки упрямы до невозможности; что мы не делали, чтоб уговорить их, – один ответ, что русских условий принять нельзя! Ваше требование Керчи и Еникале есть один из главных камней преткновения; они думают, что посредством этих двух мест и флотов, какие у вас там будут, вы будете владеть Черным морем и держать в осаде Константинополь». *Голицын* : «Все эти опасения не имеют никакого основания; положение Керчи и Еникале неудобно для военного флота; да если бы было и иначе, то Порте нечего бояться в мирное время, когда наши корабли имеют право плавать по Черному морю; в случае же войны мы приведем в действие верфи Таганрога, Азова и Воронежа, причем Кафский проход, находящийся в руках наших союзников татар, будет нам всегда открыт. Порта не хочет нам отдать этих двух мест единственно потому, что они послужат нам гарантией независимости татар». *Иосиф* (с улыбкой): «Говорят, что татарская независимость, на которую так настаивает Россия, вовсе не по вкусу самих татар и что вы ее им навязываете». *Голицын* : «Дело возможное: народ, привыкший долгое время к игу, связанный с турками единством веры и нравов, может оказывать нежелание внезапного освобождения, и мы не стали бы открывать им глаза насчет выгод, которых они не понимают, если бы у нас не было прямого интереса так поступать. Освобождая этот хищный народ из-под покровительства Порты, делая его ответственным за его собственные поступки, мы чрез это доставляем нашим границам безопасность от их набегов. Да и ваши владения от этого выиграют». *Иосиф* : «Как это?» *Голицын* : «Во-первых, мы удалили многие татарские орды, переведя их из Буджака на Кубань; потом, в случае войны австрийского дома с Портою последняя не будет иметь в своем распоряжении толпы разбойников, которые прежде с необыкновенной быстротой опустошали целые области». *Иосиф* : «Прекрасно! Эти соображения мне кажутся основательными; однако если турки будут упорствовать, то скоро ли у вас будет мир?» *Голицын* : «Наш мир с Портою будет заключен очень скоро, если венский двор употребит в нашу пользу лучшее из увещаний». *Иосиф* (улыбаясь): «Понимаю, вы разумеете пушки». *Голицын* : «Именно, государь. Уже самая близость войны столь продолжительной неудобна для соседней державы; потом турки благодаря неутомимым заботам наших завистников привыкают нечувствительно к лучшей дисциплине, учатся воевать с Европою, и, соединяя эту выгоду со своими естественными средствами, они делаются гораздо опаснее, чем были прежде». *Иосиф* : «Я с этим не согласен. Не касаясь уже главной струны (магометанства?),

живой и кипучий характер этого зверского народа в соединении с формой правления никогда не может согласоваться с дисциплиной, в какой мы держим наших солдат». *Голицын* : «Дай бог, чтоб предположение вашего величества никогда не допускало исключений, но, соображая все обстоятельства, осторожность в этом отношении не неуместна». Тут император вдруг переменил разговор.

Об интригах Франции толковали постоянно в Петербурге, Берлине и Вене; о чем же толковали во Франции? В марте Хотинский писал Панину: «Здесь согласие трех дворов – русского, прусского и австрийского – почитается странным для всех союзом, и неведомо, каких в нем видов не подозревают. Потому опасаясь я, чтоб не употребил здешний двор всяких ухищрений напугать этим и англичан, которые в такую западню могут и попасться и станут если не содействовать Франции в ее предприятиях, то мироволить, а она не преминет всячески кутить и мутить». Больше всего во Франции боялись нападения на Швецию со стороны России, что заставило бы Францию помогать Швеции хотя деньгами, но и денег не было. Тщетно Хотинский уверял Эгильона, что у России нет намерения напасть на Швецию; герцог отвечал: «Это все равно как если бы вы мне говорили, что остаетесь в Версале, а я собственными глазами видел из окна, что в вашу карету лошади запряжены. Для чего вы не хотите со стороны шведов обезопаситься заключением с ними договора?» В августе пришло известие о назначении во Францию министром генерал-майора князя Ив. Серг. Борятинского. Это известие заставило утихнуть слухи о войне, и бумаги поднялись на бирже. Эгильон сказал Хотинскому, что Дюран расхваливает Борятинского. «Такое назначение, – заметил Хотинский, – может успокоить вас и относительно Швеции». – «Вы знаете, – отвечал Эгильон, – образ мыслей короля и мои намерения, знаете, что мы желаем более всего, чтоб это назначение послужило к утверждению совершеннейшего согласия». Когда Хотинский указал на вооружение Франции, то герцог сказал: «Мы не хотим, чтоб о нас подумали, что мы уже совсем бессильны».

В августе был составлен наказ новому министру кн. Борятинскому. Наказ этот замечателен как объяснение и оправдание русской политики во время панинского управления внешними делами, написанный самим Паниным: «Руководство общими делами разделяется главными державами по мере умения каждой себе его присваивать. До царствования Великой Екатерины Россия при всех своих успехах в прусской войне играла только второстепенную роль (?), выступая везде вслед за своими союзниками (?). При вступлении ее в-ства на престол в Европе были две стороны: в первой находились Франция и Австрия, за ними Испания и значительная часть имперских князей; на другой стороне была Англия и король прусский. С первой в союзе находился король португальский и некоторые имперские князья; с последним же сделался вдруг из неприятеля теснейшим союзником император Петр III; следовательно, и тут Россия, переменя политическую систему, осталась все же в значении державы, от посторонних интересов зависимой. При заключении мира Англия успела вынудить от бургонского дома выгодные условия, удержав за собой многие и важные завоевания, а король прусский отдался безо всякой потери. Чем меньше Россия вследствие скоропостижного перелома, совершенного в ее политике Петром III, могла иметь влияние в этих мирных переговорах, которые основывали будущее положение всей Европы, тем труднее было ей после приобрести влияние. Мудрость и твердость ее и. в-ства превозмогли, однако, скоро эту трудность, и свет увидел вдруг с удивлением, что здешний двор начал играть в общих делах роль, равную роли главных держав, а на севере – первенствующую. Англия, имея с нами одинакие государственные интересы, а сверх того, привыкнув по естественному положению острова своего смотреть в мирное время очень равнодушно на континентальные дела, увидела такую политическую перемену с чрезвычайным удовольствием по той причине, что находила в России новую соперницу Франции, облегчающую собственные ее заботы. Австрия и Пруссия были так утомлены от войны, что сначала мало помышляли о распространении влияния своего далее пределов германской империи, а после, увидя, что Россия начала сама собою и по собственной системе действо-

вать, стали по взаимной их друг ко другу ревности наперерыв искать ее дружбы и союза, но с той разностью, что венский двор по прежней привычке руководствовать ею для собственных видов (?) старался и тут возвратить нас в зависимость от своей политики; а король прусский, оставляя ее и в-ству первенство в общих с ними делах, хотел только приобрести себе ее дружбу и союзом ее оградить целость и безопасность владений своих на будущее время, зная по опыту, какую завистью пылает к нему венский двор, и, конечно, воспользуется. первым удобным случаем к отнятию у него Силезии. Не трудно было императрице избрать, которая сторона выгоднее и полезнее для славы и достоинства империи, тем более что венский двор находился в теснейшем соединении с Францией, которой влияние везде господствовало и особенно на севере препятствовало усилению русского влияния. Предпочтение Россиею прусского союза не могло быть по вкусу венскому двору, и потому он начал везде способствовать французским интригам против нас, сохраняя некоторую умеренность и все наружное приличие. Но Франция оскорблялась в войне, чувствуя, что русское влияние усиливается в ущерб ее собственному; и первый министр герцог Шуазель, полагая в том личную свою честь, стал хвататься и за все позволенные и непозволенные способы. Общая французская система против нас состоит в том, чтоб влиянию и значению России, по крайней мере равняющимся теперь влиянию и значению Франции, ставить сильнейшие препятствия и стараться возвратить Россию в прежнее положение державы, действующей не собою, а повинующейся чужим интересам. По этому плану действуют теперь при всех дворах французские министры, хотя герцогу Эгильону надобно отдать справедливость, что со времени его министерства наблюдается ими все наружное приличие; и здесь Дюран уверяет о дружеском расположении своего короля к императрице и желании его оказать ей услуги, средством к чему могут служить возобновление оборонительного союза между Россиею и Швециею и посредничество для заключения мира с Портою, но все это делается с прежней целью лишить нашу политику самостоятельности. Франция увидала, что успехи ее в борьбе с нами не соответствуют ее желанию, и потому вздумала перевернуться и построить батареи свои у нас самих, пользуясь шведской революцией и порыванием переговоров с турками, в надежде, что увеличение наших забот побудит нас с радостью и без размышления ухватиться за ее лестные предложения. Тонкая мысль, чтоб дать нам в собственном нашем деле почувствовать недостаток собственных наших средств. Но тонкость Франции не устояла, однако, против мудрости ее и в-ства, проникнувшей ковы и отклонившей французские предложения». Борятинский должен был поступить соответственно этому, если б во Франции повторили ему подобные предложения. Относительно отклонения французского посредничества Панин под условием глубочайшей тайны рассказывал английскому посланнику Гуннингу следующее. Известный Дидро, гостивший в это время в Петербурге, подал императрице бумагу, содержащую условия мира России с Турциею, который Франция обязывается доставить, если будет принято ее посредничество. Дидро объяснял, что бумагу получил он от Дюрана и не мог отказаться передать ее императрице, иначе по возвращении во Францию был бы заключен в Бастилию. Екатерина отвечала ему, что, принимая в соображение такую опасность для него, она прощает неприличие его поступка, но пусть он передаст Дюрану, какое употребление она сделала из его бумаги: при этих словах бумага была брошена в огонь. Кроме того, Дюран три раза был у Панина с предложением посредничества и союза Франции с Россиею на условиях, какие будут угодны последней. Каждый раз он получал ответ, что русский двор не считает настоящую минуту удобной для увеличения своих обязательств и довольствуется обязательствами, уже существующими, но императрица очень чувствительна к дружественным намерениям его христианнейшего величества и всего более желает иметь случай убедить короля в том, как она его уважает и ценит его дружбу. Панин уверял Гуннинга, что, пока он управляет иностранными делами, Россия не примет французского посредничества. Но Гуннинг, донося об этом своему министерству, замечает, что, несмотря на враждебность

Панина ко Франции, если бы не было в Петербурге Орлова, то можно было бы очень опасаться успеха приверженцев французского союза.

В Швеции не переставали ждать нападения с русской стороны и для обеспечения себя следовали вполне французским внушениям. «Благонамеренные, – писал Остерман, – говорят, что они не оказали сопротивления перевороту потому только, что не были удостоверены в защите России, говорили, что иго, наложенное королем, русской силой так же легко будет свергнуто, как скоропостижно было наложено. Нет ни одного шведа, который бы не думал, что эта минута настанет; до ее же наступления всякое движение, как вы сами мудро и проницательно признавать изволите, было бы не только напрасным, но и самым вредным предприятием и, следовательно, по моему мнению, всякая денежная раздача на приготовление умов была бы излишня, кроме одного тайного вспоможения благонамеренным, находящимся в крайней нужде, на что из последних полученных мною денег еще довольно в остатке находится. Я должен тем более остерегаться, что и без того наши соперники приписывали мне составление заговора и теперь прямо говорить начали, что мы по окончании нашей войны намерены напасть на Швецию вместе с Пруссией и Даниею. Зная ее и. в-ства будущее намерение, я не оставляю, сколько благопристойность позволит, под рукою усиливать настоящее неудовольствие, соразмеряя мои внушения и мою откровенность со взаимной ко мне доверенностью. Я составил список людей, в неудовольствии которых не сомневаюсь; но так как эти люди отмечены у короля русскими креатурами и удалены от правления, то от них, кроме скрытного содействия, другого ожидать нельзя, ибо за каждым их шагом следят. Пока не удастся королевского брата герцога Фридриха от короля отвратить и к нашим началам привести, ни один из больших господ себя не откроет, и если вспыхнет какое возмущение и непослушание в полках, то от мелкого офицерства, а не от больших чиновных людей. На твердость и скромность герцога Фридриха надеяться трудно. За два дня до получения королевского указа о принятии команды над полками в Остготской провинции при известии о бунте в Христианштаде принц публично за столом уверял, что он явится вождем народа в защите вольности, по получении же указа объявил, пожимая плечи: „Король мне брат, мне нельзя его оставить, поневоле должен защищать“. Выходки против короля делал и герцог Карл, но следствий никаких не было; родственное чувство в королевской фамилии очень сильно: часто и скоро ссорятся, но скоро и опять мирятся».

Известия о русских вооружениях в Финляндии заставили Густава III созвать в начале марта военный совет из сенаторов графов Ливена, Шефера, Ферзена и барона Фалькенгрена. Король предлагал отправить в Финляндию несколько полков и артиллерийскую эстляндскую команду из 400 человек с 16 пушками. Но кроме Шефера, все другие сенаторы представляли, что прежде надобно получить достовернейшее сведение, действительно ли императрица намерена напасть на Швецию, и потому они признавали полезным прежде всяких вооружений со стороны Швеции обнадежить императрицу именем короля, что у него нет ни малейшего намерения ее беспокоить, вследствие чего можно надеяться получить и от императрицы подобные же уверения, тогда как вооружения скорее всего могут произвести холодность между дворами. Король согласился не посылать в Финляндию полков и артиллерию, но, с другой стороны, согласился с Шефером, что не нужно посылать в Петербург обнадеживания, которое может повести к неприятному для Швеции ответу. Старались всеми средствами уверить, что с шведской стороны никакого военного движения не будет. Шефер приезжал к английскому министру Гудрику и говорил о распространяемом в Европе слухе, будто шведский король заключил с Портою договор, по которому за большую сумму денег обязался сделать диверсию против России. Шефер клялся, что этот слух выдуман врагами Швеции, что не только нет никакого договора, напротив, шведскому министру при Порте Целзангу предписано не препятствовать никоим образом заключению мира между Россией и Турцией. «Это уверение Шефера, – писал Остерман Панину, – могло бы иметь еще некоторый вид истины, если бы он так бесстыдно не уверял о своих предписаниях Целзангу». Остерман был уверен, что турецкие деньги придут в

Стокгольм, как бы они ни были прикрыты, трактатом или французским плащом. После всех этих событий Шефер прислал просить свидания у Остермана и начал такой разговор именем королевским: «Вам известны неоднократно данные его величеством уверения об искреннейшем желании и непоколебимом намерении сохранить доброе согласие с императрицей. Король, имея и теперь то же самое пламенное желание, приказал мне подтвердить вам о нем с присовокуплением, что он до сих пор полагался на подобные же уверения и с ее стороны, несмотря на известие о русских вооружениях в Финляндии; теперь же, получа подтверждение этих известий о сборе 18000 человек, о вооружении 75 галер и целой эскадры, не может скрыть, как бы эти известия его обеспокоили, если б он не вполне полагался на дружбу ее величества, основанную на родстве. Между тем он принял и с своей стороны некоторые меры предосторожности, но приказал мне повторить уверение, что эти меры приняты только для обороны, а никак не для наступления, и как скоро он из ваших уст узнает, что ее величество ничего против него предпринять не намерена, то сейчас же всякие вооружения прекратятся». «Этот поступок: Шефера, – писал Остерман, – происходит от того, что он со своей шайкой пронюхал нерасположение народа к войне и старается теперь подброду выйти из этого лабиринта для успокоения нации, почему так сильно и домогается об ответе с нашей стороны, чтоб в случае благоприятного ответа пресечь все движения, в противном случае продолжать их усиленно, даже собрать и чрезвычайный сейм».

В Петербурге составлен был такой ответ Остерману для передачи Шеферу по поводу последней конференции: «С тех пор как король вступил на престол, ее импер. в-ство постоянно уверяла его в своей искренней дружбе к нему как близкому родственнику, в участии, какое она принимает в его благополучии, в доверии, какое она питает к его желанию установить совершенное согласие между двумя державами. Одушевляемая такими чувствами, императрица с новым доверием и с новым удовольствием приняла последние уверения короля. Ее импер. в-ство презирует тайные пути; во все свое царствование она вела свои дела на виду пред всей Европою; тем менее она могла изменить свое поведение относительно государя, находящегося с ней в таком близком родстве; по этому неизменному правилу своей политики она приказывает вам (Остерману) уверить, что во всем, что делалось и делается в ее государстве, не заключается ни малейшего намерения к нападению на Швецию. Первый шаг в перемене существовавшего порядка дел на Севере сделан не ею. Ее война с Турцией уже приближалась к окончанию, когда Швеция получила новую правительственную форму. От этой перемены и воинственных движений, непосредственно за нею последовавших и продолжающихся без перерыва до сего дня, враг России ободрился и мирные переговоры встретили препятствия, каких не было вначале. Императрица, естественно, должна была обратить внимание на то, что делалось в Швеции, а там велись усиленные приготовления к войне. В России же, наоборот, на северных границах постепенно являются войска, которые и прежде там были, но в последнее время были отправлены на юг вследствие неожиданного объявления турками войны; то же делается и относительно морских сил; и этим ограничиваются все военные распоряжения. Северные границы были обнажены от войска вследствие минутной необходимости, их вовсе не хотели оставить обнаженными, и они не должны были оставаться такими на основании перемены, происшедшей в соседстве. Императрица объявляет, что она не думала и не думает ни о чем Другом, кроме естественной защиты своего государства и своего союзника короля датского, и если шведский король даст торжественные уверения, что он не желает напасть на Россию, ни обеспокоить ее каким бы то ни было образом, и если эти уверения простираются и на Данию, то императрица с своей стороны уверяет короля, что она не имеет ни малейшего намерения напасть на него и желает сохранить мир и дружбу между обоими государствами. Что же касается до предложения о более тесном союзе между Россией и Швецией, сделанного шведским посланником при русском дворе бароном Риббингом, то это дело откладывается до более спокойного времени, могущего уничтожить возможность всяких перетолковываний».

Когда Остерман прочел этот ответ Шеферу, тот сказал, что лучшего уверения и желать нельзя, и хотя можно было бы сделать много замечаний относительно шведских вооружений, упоминаемых в ответе, но он считает более приличным их оставить. В ноябре сам король наедине сказал Остерману, что единственное его желание – удостоверить императрицу в искренности своей дружбы и для отнятия всякого повода к сомнению в этом он объявляет свое намерение в начале июня месяца будущего года ехать в Финляндию. Нынешний год он отложил эту поездку единственно для избежания разных толков о ее цели, а теперь частным образом открывает свое намерение по случаю этой поездки посетить императрицу и потому спрашивает, получил ли Остерман ответ на его прежний вопрос по этому делу. Остерман отвечал, что король, конечно, припомнит, как он, посол, именем императрицы уверял его, с каким удовольствием она увидит у себя такого дорогого гостя и кровного родственника. «Правда, – сказал Густав, – но так как после того произошли здесь разные приключения, то нет возможности формально повторить прежнее предложение, и потому мне было бы очень приятно, если бы вы сообщили ответ ее и. в-ства моему министерству; и я жажду видеть такую великую, прославляемую во всем свете монархиню и уверить ее лично в моем высокопочитании и миролюбивых чувствах, а потому и желаю получить от ее в-ства приглашение», Екатерина велела Остерману отвечать, что она по-прежнему питает искреннее желание лично познакомиться с королем, своим соседом и близким родственником. Панин по этому случаю писал Остерману: «Приезд его величества был бы нам, конечно, приятнее в то время, когда у нас мир с турками заключен уже будет, нежели при настоящих наших хлопотах; однако ж когда он ныне вторичное оказал желание посетить государыню, то и не позволяет нам благопристойность препятствовать тут исполнению его намерения».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.